

Анатолий Иванов

Вечный зов

Том I

Пролог

В один из июньских дней 1908 года в следственной камере при Томской жандармерии находились двое — сам следователь господин Лахновский, человек лет тридцати пяти, с жирным тупым носом, и старший надзиратель Косоротов, мужчина неопрятной наружности, с выпирающими челюстями.

Следователь, в нижней рубашке, за рабочим столом пил чай. Было жарко, его форменный китель болтался на спинке стула. Косоротов прислуживал, через руку у него висело полотенце, и вообще он походил на трактирного полового.

Лахновский поставил пустую чашку на поднос и сказал:

— Слышал я, братец, о твоём рапорте начальству. В Александровский централ просишься?

— Мечта, ваше благородие. С малых, юных лет.

— Мечта — это хорошо. Мечта у человека исполняться должна.

— И вы, ваше благородие, подсобить обещали, ежели отличусь.

— Да-да, я походатайствую. Жалко тебя отпускать, но за усердие и преданность надо поощрять. — Лахновский отодвинул поднос с чайной посудой. — Ну-с, давай опять с твоих новониколаевских земляков начнём... Как тебе удалось выследить их?

— А я, Арнольд Михалыч, стал быть, в иллюзион шёл. А когда иду по улице — всегда смотрю: что, где, как? Гляжу — с переулка впереди меня вывернулись двое. И пошли, пошли, скоренько так. Что-то, думаю, не так... А тут один оглянулся. Меня и вдарило: Полипов Петька, земляк! А с ним кто же? Так и есть, Антошка Савельев! Обои в девятьсот пятом — девятьсот шестом годах ещё в Новониколаевской тюрьме сидели, когда я там надзирателем служил. Что, думаю, в Томске им надо? Я свисток...

— Ладно, молодец. Веди по одному.

Лахновский накинул китель, закурил. Дымок от папиросы потёк на улицу через открытую форточку зарешечённого окошка.

Минуты через полторы Косоротов втолкнул из коридора Антона Савельева. Антон был в помятом пиджаке, из-под фуражки свешивался белёсый чуб. Светлые глаза глядели на следователя угрюмо и враждебно.

Лахновский, попыхивая папирсой, подошёл, усмехнулся, кивнул на стол, где лежали две серые тощие папки:

— Я запросил из Новониколаевского жандармского отделения ваши с Полиповым личные дела. Ну-с, и теперь будете запираяться?

* * *

Антону Савельеву около месяца назад исполнилось восемнадцать. И в этот день была свадьба, он женился на Лизе Захаровой, единственной дочери новониколаевского социалиста Никандра Захарова, погибшего в марте 1905 года при побеге из Александровского централа.

Родился и вырос Антон в деревушке Михайловке Шантарской волости, которая находилась верстах в полутораста от Новониколаевска. Его отец, Силантий Савельев, был, как говорили в Михайловке, «беднее поповой собаки». Что значило это выражение, Антон понять никогда не мог, потому что в Михайловке ни попа, ни церкви, а следовательно, «поповой собаки» не было.

Антон рос хулиганистым. Часто колотил меньших братьев — Фёдора и Ваньку, держал в жестоком страхе всех Михайловских ребятишек.

Каким бы вырос Антон — неизвестно, но весной 1904 года в Михайловку приехал из Новониколаевска младший брат Силантия, плотник Митрофан.

— Возьми-кось, Митрофан, Антошку хучь на время в город, а? — попросил его старший брат. — Можя, рукомеслу своему его обучишь. А то мы тут с маткой никак управы на него не найдём, спортится парнишка до края. С конокрадами вот, слышно, дружбу свёл, в карты они его приучили играть.

В Новониколаевске Антону понравилось, но учиться плотницкому делу он не стал. Целыми днями болтался по улицам города, перезнакомился с городскими хулиганами, играл с ними в карты, наловчился обчищать карманы валявшихся у пивнушек мужиков, за что не раз бывал жестоко бит. Неожиданно все дела эти бросил, пристрастился ловить птиц в окрестных лесах, которых и стал продавать на рынке или менять на пряники сыну соседского лавочника Петьке Полипову. Сам Антон сладостей не любил — отдавал тонконогой Лизке, «дочке каторжника», как её называли все вокруг.

Этой Лизке, худой, как скелет, с острыми коленками и длинными чёрными бровями девчонке, было лет четырнадцать. Она жила на той же улице, что и дядя Митрофан, мать её, вечно кашляющая,

видимо чахоточная, работала где-то на мыловаренном заводе. Антона Лизка заинтересовала именно тем, что была дочерью каторжника. «Интересно, за что её отца в каторгу загнали? — думал Антон. — Зарезал, наверное, кого?»

Как-то он спросил об этом у сына дяди Митрофана — Григория. Высокий, жилистый, большеглазый, Григорий работал в паровозном депо кочегаром, от него пахло всегда дымом и сажей, но он был весёлым человеком, часто брал с собой Антона на рыбалку и вообще относился к нему дружески, как к ровне.

— Правду человек захотел поискать — вот и упекли на каторгу, — сказал Григорий. Внимательно поглядел на Антона и добавил: — Он, отец её, социалист.

— Что ж это такое — социалист?

— Революционер, значит.

— А что такое революционер?

Григорий рассмеялся, подмигнул почему-то Антону.

— Интересно? Значит, как-нибудь узнаешь. Всему своё время.

Вскоре Антон узнал, что и Григорий, и дядя Митрофан, и даже его жена Ульяна Фёдоровна тоже революционеры, хотя они это тщательно скрывали от него. А когда поняли, что Антону всё

известно, чуть не отправили его назад в Михайловку, к родителям. Особенно настаивала на этом тётя Ульяна. И его отправили бы, наверно, если бы не Григорий.

— Смотрю я на тебя, батя, и думаю: чего ты хочешь?! — схватился однажды Григорий со своим отцом. Взял со стола отобранную тётей Ульяной у Антона колоду карт, потряс ею в воздухе. — Ты хочешь, чтобы Антон и дальше шёл по этой дорожке? А ведь чем дальше, тем оно глубже. Пойми, парень в таком возрасте, когда чёрт-те что хочется, небывалого чего-то! Так надо помочь ему!

Григорий, весёлый, никогда не унывающий Григорий, который воспротивился отправлению Антона назад в Михайловку, в тот же день, буквально через полчаса, принимая на загородном полустанке от связного политическую литературу, был смертельно ранен жандармом, а вечером умер на руках Антона, сказав:

— Если пойдёшь, Антон, правду искать, тебя ждут тюрьмы, каторги и, может быть, вот... такой конец... Пойдёшь?

— Пойду.

— Не забоишься?

— Нет.

— И правильно...

— Я буду такой же, как ты!

— Я верю...

В тюрьме Антону впервые пришлось посидеть довольно скоро. И ему, и Лизе, и Петьке Полипову. Несмотря на то, что Петька был сыном довольно богатого лавочника.

С Петькой у Антона постепенно сложились дружеские отношения. Омрачало их дружбу только одно — оба незаметно как-то влюбились в Лизу. Чем покорила она Петьку, неизвестно, красивой Лизу назвать было нельзя. Красивыми были только её глаза — зеленоватые, как речная вода, и вечно в них плескалось что-то беспокойное и живое. Антону же она понравилась своей отчаянной смелостью, хотя по её виду заключить этого было нельзя. Нельзя-то нельзя, но тем не менее в свои четырнадцать-пятнадцать лет она не раз ездила в Томск, привозила оттуда запрещённую литературу и даже оружие.

Сама Лиза к Антону и Петру относилась всегда одинаково, и до самого последнего времени было неизвестно, кому она отдаст предпочтение. Шансы Полипова, как в душе считал Антон, были неизмеримо выше, особенно после выхода из тюрьмы. Всех их посадили в конце октября 1905 года — Антона, Лизу, Петьку, руководителя Новониколаевской организации РСДРП Ивана Михайловича Субботина, опытного революционера, совершившего за несколько месяцев до этого вместе с Лизиным отцом побег из

Александровского централа. Друзья выправили Субботину документы на имя Кузьмы Чуркина, устроили на службу в Новониколаевске — посудомоем на тюремную кухню. Работая на кухне, Чуркин активно готовил побег политзаключённых. Во время октябрьской стачки, в тот день, когда железнодорожные рабочие, возглавленные после смерти Григория его отцом, Митрофаном Ивановичем, устроили небывалую политическую демонстрацию, тюрьму удалось разгромить. Но подоспевшие казачьи сотни и регулярные войска разогнали демонстрантов, а через несколько минут арестовали всех организаторов побега политзаключённых.

В этот день Чуркин-Субботин дал Антону и Петру Полипову настоящее боевое задание. Антон должен был с утра отправиться на глухой полустанок, получить там у старичка путейца сумку с патронами и к десяти утра доставить в условленное место в лесу за городом. Это был дополнительный боевой запас, который мог понадобиться. В случае надобности Петьке Полипову следовало эти патроны доставить в город, штурмовой группе. Полипов был гимназист, и ему легче было в своей гимназической форме пронести по улицам города патроны, не вызывая подозрений. Но Антон обиделся, что его не только не берут в штурмовую группу, но и патроны не

доверяют нести в город. И поэтому прямо с полустанка он отправился к месту сбора этой группы.

Ух, как вскипел тогда Субботин, увидев такую недисциплинированность! А ведь патроны-то были нужны, Полипова Петьку он уже услал за ними в лес.

Следствие по делу организаторов демонстрации и налёта на тюрьму велось долго, больше года. Арестованных содержали то порознь, в разных камерах, то всех вместе, подсаживая одновременно и провокаторов. Особенно досталось за это время Полипову. Его чаще других вызывали на допросы, частенько избивали, хотя истязание политических было запрещено. Для Полипова, видимо, делали исключение, надеясь, что изнеженный жизнью сын богатого лавочника не выдержит. Но он выдержал, он никого не выдал, сам Субботин сказал о нём:

— Он настоящий парень, наш Петро. Побольше бы нам таких.

Несмотря на скудные улики, им троим — Антону, Лизе, Петьке Полипову — дали по два года. Митрофану Ивановичу — два с половиной, Чуркину-Субботину же, как беглому политзаключённому, — восемь лет каторги. Но с этапа ему удалось бежать, он снова очутился в Новониколаевске, опять начал сколачивать

разгромленную в 1905 году городскую организацию РСДРП.

По выходе из тюрьмы Антон устроился грузчиком на лесопилку. Лиза, как и прежде, относилась к Антону и Полипову одинаково. Мать Лизы, пока они сидели в тюрьме, умерла, Лиза с трудом поступила работать на ту же мыловарку. То Антон, то Петька часто встречали её у мыловарки, провожали домой. И однажды, чтобы покончить с неопределённостью, Антон решился на откровенный разговор. Говорить ему было трудно, но Лиза и не дала говорить.

— Не надо! Не надо! — воскликнула она и зажала ему рот жёсткой ладонью. Потом ткнулась горячей головой в плечо.

— А... а как же Петька? — задал он глупый вопрос.

— А что Петька?! Он хороший, наверно. Но... не знаю. Не лежит и никогда не лежало у меня к нему сердце. Он грамотный, а я... Ты ему сам скажи. Чтоб не встречал больше...

И Антон сказал. Петька выслушал всё молча, круглые щёки его налились густой кровью, засинели, на правой щеке заходил тяжёлый желвак, и правый же угол рта дёрнулся.

...Свадьбы, как таковой, у Антона с Лизой, можно сказать, и не было. В тёплый майский вечер он увёл Лизу за город, в лес, там они построили

шалашик и провели в нём свою первую хмельную ночь. Антон был пьян от счастья, от запаха цветущей черёмухи. Этот запах он почувствовал ещё вечером, выходя из города. В тёплом синеватом воздухе бесшумно носились ласточки, то взмывая стремительно вверх, то припадая к самой земле. И в голове неизвестно откуда явились сами собой и зазвенели четыре стихотворные строчки:

Над городом запах черёмух струится,
Давно отступила уж зимняя стынь,
И ласточки, ласточки — быстрые птицы —
Пронзают небесную синь...

Антон даже испугался. Никогда никаких сочинительских талантов он в себе не чувствовал и знал, что таковыми не обладает. И вот тебе на — сочинил! Строчки эти всю ночь звенели в голове, а к утру неожиданно сложился ещё один куплет:

И ежели в сердце тоска застучится —
Ты голову в небо чуть-чуть запрокинь
И сразу увидишь, как вольные птицы
Пронзают небесную синь...

Антон вовсе обомлел.

Когда сквозь дыры в шалашике ударило солнце, Лиза заметила необычность поведения

Антон, в её глазах плеснулось беспокойство.

— Что с тобой?

— Ничего, — смутился Антон и поднялся, вышел на воздух.

Вышла и она. Лесная поляна была залита свежим солнечным светом и звоном птичьих голосов. В этом свете и в этом звоне, собирая ромашки, ходила по поляне Лиза, в белой кофточке, с распущенными волосами. Увидев Антона, она бросилась к нему, закружила его, выкрикивая:

— А я твоя жена! А я твоя жена!

Они упали в мягкую траву и опять принялись целоваться, будто им не хватило на это ночи.

Потом разожгли костёр и стали кипятить чай. Глядя на огонь, Антон сказал:

— А знаешь, Лиза, я стих сложил... для тебя.

— Иди ты... — не поверила она. — Как сложил?

— Не знаю. Вот, слушай.

Он проговорил эти восемь строчек торопливо, краснея. Лиза слушала, глаза её раскрывались всё шире.

— Это ты... неужели сам?

— Сам.

— Для меня?

— Ага.

Лиза притихла, им обоим стало неловко будто. И вдруг она замурлыкала, укладывая только

что услышанные слова в простенькую мелодию, и пропела их все, не пропустив ни одного.

— Антон! Антон! — вскричала она, кончив петь, прижалась к нему и, счастливая, заплакала.

Вскоре пришла тётя Ульяна, принесла корзинку с едой, несколько бутылок вина. На траве расстелили скатерть, разложили скромное угощение. По одному, по двое стали подходить гости: сперва молчаливый Петька Полипов, потом несколько рабочих из депо, с лесопилки, с мыловарки, из типографии — все члены подпольного городского комитета РСДРП. Последними появились дядя Митрофан и Субботин. Как положено, крикнули: «Горько!» Полипов сидел чуть в сторонке, сжимая в руках гранёный стакан. Антон и Лиза, смущаясь, целовались. И все выпили, только Полипов не пил, всё сидел, сжимая стакан. Потом резко вздёрнул руку, выплеснул в рот вино. Но на его поведение никто не обратил внимания, потому что Субботин чуть выпрямился и сказал:

— Товарищи, друзья мои, не будем терять времени. Заседание подпольного городского комитета РСДРП считаю открытым. Вопрос один — об организации нелегальной рабочей газеты...

* * *

— Ну-с, так как же, будете говорить? — повторил следователь Лахновский свой вопрос.

За спиной Антона, за закрытой дверью, затихли удаляющиеся шаги. Ещё там, в Новониколаевской тюрьме, Антон научился по звуку отличать шаги Косоротова от шагов других надзирателей — тридцатилетний, он ходил тяжело и грузно, как старик, громко шаркая ногами.

— Вы бы поздоровались сперва, — сказал Антон.

— С какой целью прибыли в Томск?

— Я же говорил — я женился, приехал снять квартиру, чтобы провести в Томске медовый месяц. Полипов мой друг, он помогал мне в поисках квартиры.

— Вы приехали, чтобы восстановить преступные связи с томскими социалистами.

Антон пожал плечами.

Лахновский закурил новую папиросу.

— Советую говорить правду. Ваш так называемый друг Полипов во всём сознался.

— Давайте очную ставку, проверим. Ему не в чем сознаваться. За незаконный арест ответите. Я буду жаловаться.

— Жаловаться? — Следователь подошёл вплотную. И вдруг обхватил Антона за шею, поднёс к самому лицу папиросу, намереваясь ткнуть в глаз. — Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в

Томск?

Антон отклонял голову, пока можно было, одновременно пытаясь вырваться. Но следователь был силён. Тогда Антон схватил Лахновского за руку, крутанул её. Следователь выпустил шею Антона, присел от боли, застонал. Этот стон придавал Антону ещё больше ярости, он, не соображая, что делает, размахнулся и сильно ткнул кулаком в мясистый подбородок. Лахновский отлетел к столу, роняя с плеч китель.

— Косоротов! Стража-а! В карцер подлеца!

Жандармы уволокли Антона. Косоротов прыгал вокруг Лахновского:

— Ваше благородие, да как же? Примочечку, может?.. Из квасцов...

— Какие квасцы, болван?! Давай другого, Полипова этого...

В отличие от Савельева Полипов был подавлен и хмур. Он привалился устало к стене и стал тупо смотреть в зарешечённое окошко. Круглые щёки его одрябли, опали, веки припухли, было видно, что он плохо спал, а может быть, вообще не спал несколько ночей.

— Ну-с, здравствуйте. — Лахновский застегнул китель на все пуговицы, сел за стол. — Снова будем запираяться? Садитесь. С какой целью прибыли в Томск?

— Я уже говорил... — вяло ответил Полипов,

усаживаясь на стул. — Мой друг решил провести в Томске медовый месяц. Я приехал помочь ему подыскать квартиру.

— Придумали бы что-нибудь поумнее, — поморщился следователь. — Где это видано, чтобы простой рабочий имел понятие о медовом месяце, да ещё отпраивлся в свадебное путешествие?

Да, ввали они неубедительно. После женитьбы Антона Полипов с ним почти не разговаривал, и в Томск они ехали будто виноватые в чём-то друг перед другом, потому и не договорились, как вести себя в случае провала. Только в последнюю минуту, когда раздался свисток Косоротова, Полипов крикнул Антону о медовом месяце и о квартире — первое, что пришло в голову. И вот теперь и он и Антон вынуждены были объяснять своё пребывание в Томске этой причиной, чтобы не запутаться окончательно.

Лахновский некоторое время внимательно смотрел на арестованного, усмехнулся.

— Слушайте, Полипов. Давайте говорить откровенно. Какого чёрта вас, сына уважаемого в нашем обществе человека, потащило к социалистам, бунтовщикам? Что вас там, среди этой грязной, неимущей толпы, привлекает?

Полипов молчал, всё так же опустив голову. Лахновский встал.

— Ну хорошо, я понимаю: хмель молодости,

романтика борьбы за так называемую справедливость. Чернышевского, наверное, начитались, Герцена, Плеханова... Но теперь вы вполне взрослый человек. Теперь вы можете рассуждать. Для чего вам эта справедливость, если у вашего отца, а стало быть, и у вас отнимут торговлю, дом, деньги?

Руки Полипова лежали на коленях, короткие пальцы чуть подрагивали. Лахновский заметил это.

— Вы уже бывали в наших руках, но отделались, как говорится, лёгким испугом. Из уважения к вашему отцу... и надеясь, что вы поймёте, с вами были, как я заключил из вашего личного дела и рассказов бывшего служащего Новониколаевской тюрьмы Косоротова, не очень строги. Вы что же, снова хотите оказаться в тюрьме, опять испытать человеческое унижение, оставить в тюремной камере лучшие свои годы, а может быть, здоровье, жизнь? Вы будете заживо гнить, а там, за тюремными стенами, солнце, свет, вино, женщины. Да, и женщины, чёрт побери! А революция давно задушена, разгромлена! И пора бы понять — навсегда.

Лахновский остановился возле Полипова, опять закурил.

— Вы женаты?

— Нет, — коротко ответил Полипов.

— Невеста есть?

— Нет. Была, как я считал. Теперь нет.

— Изменила?

— Замуж вышла за другого! Если вы такой любопытный.

— За кого?

— За чёрта! За дьявола! — вскипел Полипов. — Ваше какое дело?

Лахновскому нельзя было отказать в наблюдательности, в умении понимать душевное состояние своих подследственных.

— Пойдите, пойдите, — раздумчиво произнёс Лахновский. — А не за этого ли вашего друга она...

У Полипова дёрнулся уголок рта, он отвернулся.

— Тэ-экс... Значит, и любимую женщину они у вас отобрали? Примечательно-с! И вы — отдали? Отдали без борьбы, как самый последний... И не попытались её вернуть, отвоевать?

— Перестаньте! — крикнул Полипов.

Лахновский не зря был на хорошем счету у начальства. Не давая опомниться Полипову, он обхватил его, как Антона, за шею, поднёс горящую папиросу к самому носу, угрожая ткнуть в глаз, зарычал:

— Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?!

Полипов дёрнулся, зарычал. Следователь

выпустил его.

— Так вы не хотите попытаться вернуть... любимую женщину? — спросил Лахновский, разглядывая огонёк своей папиросы. — Хотя бы с нашей помощью? Или уже разлюбили её?

Стоя у стены, Полипов никак не мог унять дрожь.

— Что я... должен... для этого сделать? — Голос его рвался.

— Сказать, зачем вы приехали в Томск.

Полипов сунул кулаки в карманы, вынул, снова спрятал.

— Сколько... сколько лет дадите ему... Савельеву?

Это он проговорил с хрипом, отворачиваясь. Даже на следователя ему глядеть было стыдно.

— Смотря по тому, с какой целью он приехал в Томск. Во всяком случае, лет на пять-семь упрячем надёжно.

И вдруг Полипов, лихорадочно оглядывая почти пустой кабинет, застонал:

— Нет, нет! Я всё наврал... Я всё наврал!

Лахновский улыбнулся широко, открыто, почти по-дружески.

— Не кажется ли вам самому ваше поведение несколько смешноватым?

Полипов обмяк, съёжился.

— Вот именно, — сказал следователь

утвердительно. — Я всегда уважал людей, умеющих взять себя в руки. И так?

— При одном условии — я вне подозрения. — Полипов не глядел на следователя. — Иначе игра не стоит свеч.

— М-м... При одном условии и с нашей стороны. Мы сажаем вас на несколько месяцев в тюрьму. Необходимость этого, надеюсь, вы понимаете. Сажаем в камеру с политическими. Вы должны нас постоянно информировать об их разговорах, планах, связях с волей. Выйдя из тюрьмы, вы принимаете участие в работе вашей партийной организации, подробнейшим образом информируя местное охранное отделение о всех её делах...

— Довольно! Кончайте... — Полипова всего колотило.

— Прошу вас, садитесь. — Лахновский пододвинул ему стул, сел сам, положил перед собой лист бумаги. — Для начала несколько вопросов. Вожаки вашей городской подпольной организации РСДРП? Их фамилии, клички, явки? В Новониколаевске нелегально проживает бежавший с каторги некто Чуркин, настоящая фамилия которого Субботин. Его местонахождение? И конечно, с какой целью прибыли в Томск?

— Мы прибыли за недостающим оборудованием для подпольной типографии, —

глухо начал Полипов. — Типография устроена под домом по адресу...

Когда Полипов, выложив всё, замолчал, Лахновский ещё некоторое время писал. Кончив, он поднял голову, поглядел на уныло сидевшего напротив Полипова. На секунду в глазах следователя мелькнуло брезгливое выражение и пропало.

— Знаете, о чём я подумал? — спросил он. — К чёртовой матери эту охранку, рано или поздно вы провалитесь, если будете иметь дело с ней. Мы сделаем так: я дам вам адрес и шифр, на этот адрес вы будете слать мне из Новониколаевска ваши донесения, подписываясь условным именем. Таким образом, ни одна живая душа, кроме меня, не будет знать о вашей... патриотической деятельности на благо России. Старайтесь, Полипов, и вы далеко пойдёте...

* * *

В декабре 1912 года по самому мрачному, северному коридору Александровского централа с тяжёлой связкой ключей на широком ремне, в сопровождении двух младших надзирателей, шёл не торопясь Косоротов, заглядывая в глазок каждой камеры, проверял запоры. Вдруг он заметил, что у одного из его подчинённых плохо заправлена под

ремень рубаха-форменка.

— Т-ты, лапоть! — нахмурился Косоротов. —
Рохля деревенская! Брюхо вывалится!

— Виноват, ваше благородия! — вытянулся надзиратель, молодой парень лет двадцати.

— Гм... Хучь я и не достигнул до благородия пока... — помягчел Косоротов, — а чтоб при моём дежурстве — как огурец! — И, снова распаяясь, загремел на весь коридор: — Ты где службу несёшь? В Александровской центральной каторжной тюрьме ты службу несёшь! Ты кого надзираешь? Главных российских преступников-политиков ты надзираешь! Которые имели по несколько побегов.

— Из новеньких он, ваше благородие, — вступился за молодого другой надзиратель, мужик по виду тоже деревенский, с поседевшими усами. — Исправится он.

— Присылают тут всяких... — несколько остыв, проворчал Косоротов. — Опосля смены зайдёшь ко мне в дежурку. Как фамилия?

Фамилию молодой надзиратель сообщить не успел, потому что в конце коридора гроыхнула железная дверь, зазвенели шпоры, застучали о пол кованые сапоги.

— Дежурный! — раздался зычный голос. —
Принимай заключённого!

Косоротов рысью побежал в конец коридора.

Через несколько минут он вернулся, радостно суется вокруг обросшего густой бородой человека, закованного в кандалы:

— Да милый ты мо-ой! Привёл-таки господь ещё раз свидеться!

— Здравствуй, здравствуй, земляк, — говорил заключённый, тоже улыбаясь. Он шёл по коридору не торопясь, устало, поддерживая тяжёлые цепи, явно наслаждаясь душным и влажным тюремным теплом.

— Счас камерку тебе! Поменьше, подушнее, — всё с той же радостью суетился Косоротов. — Как жил-то, землячок мой хороший?

— А ничего жил, чего там обижаться. Из киренской ссылки сбежал, из акатуйской каторги сбежал. Недавно с Зерентуйской тюрьмой познакомился. Не понравилась что-то, тоже пришлось сбежать.

— Намыкался-то, родимый...

— А ты, значит, достиг-таки своей мечты?

— Дак старался.

— Пофартило тебе в жизни. Ишь в каких хоромах начальствуешь. Не то что наша новониколаевская развалюха.

Заключённый был Антон Савельев. За эти годы он возмужал, раздался в плечах. Коротко остриженные волосы на голове только стали вроде ещё белесее, да большой открытый лоб прорезали

две неглубокие морщины.

Косоротов всё смотрел и смотрел с улыбкой на Антона.

— Господи, да что же я стою, рохля! С дороги-то приморился. Давай сюда, родимый. — Косоротов отомкнул одну из камер. — Самая тёмненькая, самая сыренькая.

— Спасибо. Вот уж спасибо.

— Чего там, земляки всё же.

— Извиняй за беспокойство, да я ненадолго.

— Сколь уж погостишь из милости.

Прогонять не будем.

— А сколько будет дважды два?

— Так четыре вроде.

— Вот месяца через четыре, по весне, я и сбегу. Сейчас холодно, да и отдохнуть надо.

— Такой же всё весёлый ты человек, хе-хе! — совсем растаял Косоротов в улыбке. А потом начал суроветь: — Давай, давай, давай!

Втолкнув Антона в камеру, он замкнул её, перекрестился истово, и опять мелькнуло на его лице что-то вроде улыбки.

— Ведь и нашего брата тюремщика не обделяет господь радостями... Вдруг Антон изнутри сильно застучал в дверь. Косоротов открыл окошечко.

— Что тебе? Камерка не поглянулась?

— Что ты, камерка отличная. Совсем ведь

радостью-то я забыл поделиться с тобой. У меня же сын родился. Сы-ын!!

* * *

Белочешский мятеж в Новониколаевске начался в ночь на 26 мая 1918 года.

В этот день член Томского губернского исполкома Совета депутатов Антон Савельев возвращался поездом из Москвы, со съезда комиссаров труда.

Губернским комиссаром Антона избрали несколько месяцев назад. Он уехал в Томск один, оставив пока Лизу с сыном Юркой в Новониколаевске. Ещё по дороге в Москву он написал письмо, в котором сообщил, что устроился наконец в Томске с квартирой и на обратном пути заберёт с собой Лизу с сыном. А выехав из Москвы, дал телеграмму, чтобы Лиза с вещами была на вокзале вечером 26 мая.

Получив письмо, Лиза, работавшая секретарём в уездном Совете, попросила освободить её от службы и весь день с утра 26 мая укладывалась.

Станция Новониколаевск была забита эшелонами с пленными чехословаками, которые по разрешению Советского правительства возвращались к себе на родину через Владивосток.

Из вокзала, хлопая дверьми, то и дело выбегали офицеры. Мокрый, не просохший ещё после недавно прошедшего дождя красный флаг на крыше вокзала слабо трепетал, как крыло подбитой птицы. Когда стемнело, на привокзальной площади, тускло освещённой электрическими фонарями, появился хмурый, худосочный человек в кожанке, с тонким, как щепка, носом, в сопровождении дюжины вооружённых красногвардейцев.

Навстречу вывернулся патруль, и толстый чешский офицер, подбегая, закричал:

— Куда? Нельзя! Назад!

— Со специальным заданием, — вяло сказал человек в кожанке и подал чеху бумажку.

Чех долго читал, подсвечивая себе фонариком. Потом протянул несколько удивлённо:

— О-о! Подпись господина Гришина-Алмазова! Но в вокзал нельзя, там совещание. Сигарету, господин Свиридов?

Свиридов от сигареты отказался.

Минуты три спустя на площади появился Полипов, тоже в кожанке, тоже мрачный, смятый какой-то.

— Ну? — спросил он, подойдя к Свиридову.

— Приказ чешским войскам отдан по всей магистрали, — глухо проговорил Свиридов. — В городе через полчаса будут захвачены почта, телеграф, пристань, уездный Совет, Чека, уком...

Однако зачем вы здесь? Уходите.

Впервые Свиридова Полипов увидел в Новониколаевской тюрьме в 1906 году. В то время Свиридов был членом Томского комитета РСДРП, сплошь состоявшего из меньшевиков, и в камере яростно спорил с Субботиным на политические темы. А Митрофан Иванович Савельев, слушая эти споры, сказал однажды: «Знаешь что, Свиридов? Годиков через пять... а может быть, раньше даже, ты станешь платным осведомителем царской охранки».

С тех пор Полипов Свиридова не видел, но знал, что по выходе из тюрьмы он порвал с меньшевиками, примкнул к большевистскому крылу РСДРП, а после победы Советской власти оказался в Новониколаевске в качестве комиссара небольшого красногвардейского отряда.

— Что это низко так упали, Свиридов? — пошутил тогда Полипов.

— А вы, смотрю, высоко взлетели, — неприязненно ответил Свиридов. От него сильно пахло водкой.

После установления Советской власти в Новониколаевске Полипов состоял членом Ревтрибунала. Лахновский с самой Февральской революции вестей о себе не подавал, Полипов, разумеется, не разыскивал его, думал иногда с затаённой надеждой: может быть, погиб где в этой

мясорубке? Хорошо бы... Но совсем недавно Свиридов встретил его случайно на улице, пригласил к себе домой. И там, выпроводив жену и дочь — девочку-подростка лет тринадцати — на кухню, без обиняков сказал, морщась и поглаживая живот:

— Советской власти осталось существовать не много, самое большее — с неделю. В Новониколаевске давно создано подпольное Временное сибирское правительство, оно собирает силы для решительного удара. Нам помогут чехословацкие войска. Я всё откровенно вам говорю, потому что... В общем, говорю с вами по поручению Лахновского. Бывший следователь Лахновский мой хороший знакомый... к сожалению.

— Кто же вы? — изумился Полипов.

— Мы, конечно, попытаемся врасплох захватить кого надо, — вместо ответа проговорил Свиридов. — Но сразу всех арестовать вряд ли удастся. Поэтому... В общем — скрывайтесь сами, но особенно следите, где будут скрываться другие. Эти сведения, даже самые предположительные, будут для нас очень важны, как вы понимаете. Связь будете держать только со мной, как вы держали её с Лахновским.

— Но где же... сам Арнольд Михайлович?

— Пока сидит в Томской тюрьме.

И так, о нём, Полипове, не забыли, ему снова отводилась его роль.

...Последние группы чехословаков ушли с привокзальной площади. Мирно, даже как-то уютно светились невысокие окна вокзальчика. Ничто не предвещало, что буквально через несколько минут в городе начнётся кровопролитие.

— Я спрашиваю, что вы болтаетесь тут? — зло спросил Свиридов Полипова.

— Лиза... Что будет с Лизой? Я вижу, вы ждёте московского поезда, вы хотите арестовать Антона, о котором я вам сообщил... Но Лиза... Не трогайте её, очень прошу...

— Нервы, товарищ Полипов, — усмехнулся Свиридов. — Вы всё ещё не оставили надежды? А пора бы.

Да, пора бы. Десять лет прошло со времени её замужества, сын у Лизы уже большой. Со дня свадьбы едва ли год-полтора в общей сложности жила она с Антоном — остальное время он проводил в тюрьмах, побегах, снова в тюрьмах. Февральская революция освободила его из забайкальских каторжных рудников, а после Октября он уехал в Томск. И смешно Полипову было иногда, и горько: на что надеялся десять лет назад, когда решился на предательство? И всё-таки до сих пор не может оставить своей надежды. Сам давно понимает, что всё это несбыточно, а не

может. И до сих пор живёт холостяком, неудобной, неприкаянной жизнью, один как перст в огромном и гулком отцовском доме. Где отец с матерью, живы ли они — Полипов не знал. После национализации городского банка, в котором отец держал, видимо, значительные ценности, он поскучнел, осунулся, согнулся. И в январе 1918 года, бросив дом и пустые лавки, исчез вместе с матерью из города, отправив по почте сыну письмо: «Будьте вы прокляты все... А ты, любезный сынок, в первую очередь...»

Полипов был рад даже, что отец поступил таким образом, вздохнул с облегчением. Рано или поздно ему пришлось бы что-то предпринимать в отношении родителей. А теперь, если переворот удастся, родители вернуться, узнают о нём всю правду, отец возьмёт назад своё проклятье.

Свиридов нервно поглядывал на часы. Невдалеке раздался паровозный гудок, на стрелках застучали колёса подходящего поезда.

Из ближайшего переулка, из темноты, послышался детский голос:

Мы свободу свою добывали
Не мольбой, а штыком...

Полипов сразу узнал — это Юрка, сын Лизы. И через несколько секунд он появился сам — в

чистой, отутюженной рубашке, с приглаженными лохмами волос, а следом Лиза и Ульяна Фёдоровна с узлами и чемоданами.

— Пётр! — воскликнула Лиза. Глаза её обеспокоенно поблёскивали. — Спасибо, что пришёл Антона встретить.

— Я тебя пришёл проводить...

— Что происходит в городе? По улицам маршируют колонны чехословаков.

— Ничего особенного, — подал голос Свиридов. — Они пошли на помывку в баню.

Ульяна Фёдоровна опустила на землю тяжёлый узел.

— Господи, и Митрофана чего-то нету... Ведь обещал подойти. Так и не вылезит из этой своей Чеки, пропади она пропадом.

Бывший плотник, Митрофан Иванович Савельев после Октября работал в Чека, дома почти не ночевал. Последние несколько дней он вообще в семье не появлялся, сегодня после обеда сообщил через посыльного, что придёт на вокзал повидаться с племянником.

— Лизавета, чего стоим-то? — вновь схватилась за узлы Ульяна Фёдоровна. — Кажись, поезд уже пришёл.

— В вокзал нельзя, — сказал Свиридов. — Антон сам сюда придёт.

— Это как нельзя? — Ульяна Фёдоровна

взглянула на Свиридова. — Ты кто таков?

Свиридов отвернулся. Полипов торопливо схватил Лизины руки.

— Что ж, до свидания... Что ж... желаю счастья.

Ладони Полипова были горячими, потными, мелко дрожали. Он дёрнул уголком рта и, не оглядываясь, быстро ушёл в темноту.

Дальнейшее произошло в несколько минут. Сперва на перроне слышались галдёж, крики, какие-то команды на чужом языке. Потом через калитку повалили толпы пассажиров.

И вдруг где-то близко от вокзала, в городе, вспыхнула стрельба, но тотчас смолкла.

— Что это? Что это?! — закричала, бледнея, Лиза.

— Ничего особенного, — ухмыльнулся Свиридов. — Наши люди расстреливают своих врагов.

— Каких врагов? Какие люди? И вы действительно кто такой? Я вас где-то видела, кажется.

Свиридов не ответил.

Антон появился неожиданно, вывернулся из толпы.

— Лиза! Сынок! — Он подхватил Юрку, поднял, прижал к себе. Потом обнял жену. — Лиза, Лиза! Что у вас тут происходит? Почему стреляют?

Что здесь происходит?

— Ничего особенного, — ответил Свиридов, подходя к Антону. — Уничтожают Советскую власть.

— Вы, Свиридов? — Антон отступил на шаг. — Что вы сказали? Свиридов ещё медлил какие-то секунды и сказал вяло, как бы нехотя:

— Взять его. Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай.

* * *

Белочешская контрразведка зверствовала в городе вовсю. В лесу за речкой Каменкой день и ночь шли расстрелы.

После переворота прошло три недели. Полипов жил в подвале окраинного домика, принадлежавшего пожилому новониколаевскому извозчику и старому члену РСДРП Василию Степановичу Засухину, в город почти не выходил.

— Проворонили! Всю Советскую власть проворонили, — каждый вечер говорил Засухин, принося Полипову еду. — Считаю, всю городскую парторганизацию вырубил.

— Не всю. Мы вот с тобой ещё живы. Субботин, говоришь, на воле, — возражал Полипов. — Свяжи меня с Субботиным. Надо же что-то делать.

Засухин молчал, сидел на табурете, опустив голову, дымил табаком, отравляя и без того затхлый воздух подвала.

Субботин сам появился однажды в подвале — обросший за три недели, в растоптанных сапогах, в стареньком картузе, какие носили обычно городские извозчики.

— Жив? — спросил он, здороваясь. — И хорошо. Мало нас осталось. Мы ввели тебя, Пётр, в члены подпольного горкома.

— Наконец-то! — вздохнул Полипов. — А то думал, так и прокисну здесь.

— Ну, киснуть теперь некогда. Надо собирать остатки наших сил, надо фактически начинать всё заново. И мы начнём. Мы тысячу раз начнём всё заново! А Свиридов-то каков?! Я никогда не верил, что он искренне порвал с меньшевизмом. В бытность Свиридова в Томске там провал следовал за провалом. Сколько наших хороших товарищей погибло! Теперь ясно, чьих рук дело. И вот логический финал — следователь в белочешском застенке теперь. Старается. Антона Савельева, имеем сведения, особенно зверски истязает. И жену его.

— Лизу? Живы они? — Полипов был бледен, голос его пересох.

— Пока живы, кажется. А Митрофан Иванович погиб... — Субботин встал. — На днях

собраться надо всем, поговорить кое о чём.

— Когда и где?

— Нетерпеливый какой!

— Надоело сидеть в этой яме.

— Василий Степанович вот скажет, когда и где. Ну, рад я был повидать тебя, Петро.

...Через несколько дней, глубокой ночью, выбирая переулки поглуше, Полипов торопливо шёл в сторону вокзала, где в крепком особняке с дубовыми ставнями жил Свиридов.

Открыла ему жена Свиридова, полная женщина с заплаканными глазами. Полипов рассчитывал увидеть возле дома какую-то охрану, но охраны не было, и дверь открыли сразу, без всяких предосторожностей, едва он сказал, кто ему нужен. Всё это показалось Полипову странным.

Сам Свиридов лежал на кровати в брюках и нижней рубашке. Он был пьян, на столе стояли две бутылки, тарелка с огурцами.

— А-а, господин доносчик! — проговорил Свиридов. — Давно вас жду. Ну, какие новости?

И тон и слова — всё было непонятно Полипову, они испугали его.

— Подпольный горком собирается завтра... В доме наборщика городской типографии Корнея Баулина, по адресу...

— Хорошо, хорошо. Я знаю этого наборщика. Не хотите водки?

— Послушайте, Свиридов! Что всё это значит?

— А что? — Свиридов опустил ноги на пол, но с кровати не встал.

— Вы пьёте, как... как последний пьянчужка! Живёте без всякой охраны, будто в мирное время. И вообще...

— Вообще-то не надо бы пить. Гастрит у меня. Кишки будто ножницами стрижёт... — И он потёр живот. — А охрана есть.

— Послушайте, — ещё раз сказал Полипов. — Я пришёл по делу, а вы пьяны, невменяемы! Извините, я в таком случае пойду... Я ничего не понимаю.

— Кулепанов!

Распахнулась дверь, ведущая в соседнюю комнату, на пороге появился белогвардеец, за ним ещё один.

— Возьмите этого... этого... Отвести в наше заведение! Отделайте его там хорошенько и бросьте в одиночку, — сказал Свиридов, не глядя на Полипова. Подошёл к столу и налил из бутылки в стакан.

* * *

Полипов действительно ничего не понимал. Его привели в здание контрразведки, жестоко, в

кровь, избили и бросили в тесную камеру.

А потом про него, кажется, забыли. Старый знакомец Косоротов, служивший теперь здесь, носил ему раз в день вонючую баланду, убирал парашу. Он был молчалив, как камень, за всё время не промолвил ни слова.

Однажды Косоротов повёл его по длинному коридору и втолкнул в кабинет Свиридова.

Синяки с лица Полипова ещё не сошли, правая, рассечённая бровь была распухшей, закрывала глаз. Стоя у порога, Полипов левым глазом оглядел довольно просторную комнату. Стол, у стены какой-то шкаф. Возле шкафа была ещё одна дверь, обитая толстым серым войлоком.

Сам Свиридов в офицерском френче, но без погон, стоял у окна и уныло смотрел сквозь толстые решётки во двор. Испитое лицо его было землистого цвета, дряблые щёки обвисли, сухие, обшелушившиеся губы подрагивали.

— Может, всё-таки объясните, что значит вся эта история со мной? — мрачно спросил Полипов.

— Антона Савельева ко мне! — вместо ответа проговорил Свиридов. — И жену его приготовь. Потом — сына.

— Слушаюсь. — Косоротов пошёл, но у порога остановился. — Я, ваше благородие, упредить хотел... Она, Лизка Савельева, третий день пищи не берёт. И вроде бы заговариваться

начала.

— Веди же их, чёрт! — заревел Свиридов.

Когда Косоротов ушёл, Полипов сделал шаг к двери.

— Нет, увольте... Я прошу.

— Сесть! — крикнул Свиридов, показав на стул у стены.

Подошёл к шкафу, достал стакан и бутылку. Когда наливал, руки его дрожали, стекло звякало о стекло. Выпив, шумно вздохнул.

— Как вы думаете, Полипов, зачем живёт человек? — неожиданно спросил он. — В чём смысл его рождения, его смерти? А? И вообще — в чём правда, истина, а в чём ложь?

— Нашли время и место о таких вещах рассуждать?

— Почему же? Всегда и время и место... если есть потребность к этому.

— Не знал, что вы такой философ. Я же не обладаю такими достоинствами.

— Да, да... Вы просто провокатор.

— Я где нахожусь?! — Полипов рванулся, встал. — Вы лучше скажите: накрыли вы подпольный горком партии?

— Зачем? — Свиридов пожал плечами. — Накроем один — появится другой. Бесконечная, бесполезная работа...

— Не понимаю. — Полипов сел, его била

дрожь. — Или я сошёл с ума, или... И замолк, потому что Косоротов ввёл Антона.

Савельев похудел, глаза глубоко ввалились, кожа на щеках, на висках, на лбу была желтоватого цвета. Но следов истязаний видно не было. Чувствовалось только, что он смертельно устал.

Перешагнув через порог, Антон тревожно обшарил глазами кабинет.

— Здравствуй, Пётр, — сказал он негромко. — И тебя выследили ищейки? Сердце Полипова заledenело. Что, если Свиридов объяснит, каким образом его, Полипова, «выследили»? Но Свиридов только нервно усмехнулся одними губами.

Антон тяжело, как старик, подошёл к столу и сел на стул, понюхал воздух.

— Опять пил, Свиридов?

В глазах у Свиридова блеснул лихорадочный огонёк, стал разгораться.

— Не пойму я тебя, Свиридов, — продолжал Антон. — Вернее, кажется мне иногда — жжёт тебя внутри какой-то огонь, остатки совести, что ли, человеческой в тебе шевелятся, и ты заливаешь, глушишь эти остатки водкой.

— Верно, угадал, хе-хе... — Смех Свиридова был сухой, деревянный.

— А потом подумаю: нет, какая может быть совесть у озверелого палача, опустившегося до

уровня скотины!

— И тут угадал, хе-хе... — И вдруг, зеленея, взорвался: — Угадал, да, да! Угадал! — И обхватил голову обеими руками, запустил пальцы в волосы, будто хотел вырвать их. — Только тебе от этого не легче. Не легче!

— Да, я знаю, ты расстреляешь нас всех — меня, Лизу... всю нашу семью, — проговорил Антон. — Юрку даже... ребёнка не пожалеешь. Но ведь народ-то весь вам не перестрелять, не уничтожить, не подмять.

— Да? — И Свиридов усмехнулся. — Ты что, слепой, глухой? Не знаешь, не понимаешь, что происходит в России? Новониколаевск пал, Челябинск, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Красноярск наши. На Дальнем Востоке японцы, Забайкалье контролирует атаман Семёнов, Южный Урал — атаман Дутов. В Поволжье добивают остатки красных отрядов. Всё! Советской власти хватило на полгода. Была — и кончилась. И не будет больше.

— Э-э, нет, братец! Была, есть и вечно будет. В тех городах, которые ты перечислил, уже созданы, уже действуют подпольные партийные организации. Они поднимают народ, и скоро этот народ придавит вас к ногтю.

— Пока мы давим!

— Недолго вам осталось. Ведь от бессилия

свирепствуете. Скоро, очень скоро народ спросит с вас за тысячи замученных, расстрелянных! За всё сполна платить будете!

— Ну, поговорили умненько — и будет! — прервал его Свиридов. — Вопрос всё тот же — кто мог войти в состав Томского подпольного горкома?

— Не знаю я, Свиридов. Я же был арестован тобой за несколько дней до занятия Томска белочехами. Кроме того, я возвращался из Москвы.

— Я понимаю, что наверняка ты не можешь знать. Но предположительно.

Полипов, лишний и забытый, сидел у стены, с недоумением наблюдая за допросом. Зачем Свиридову фамилии томских подпольщиков, когда своих, новониколаевских, он оставил в покое? Или он врёт, Свиридов этот, Субботин и все остальные давно арестованы? И сейчас, после Антона, Свиридов начнёт их вызывать по одному на очную ставку с ним, с Полиповым? Ну да, так, наверное, и будет! Вот зачем он, Полипов, доставлен сюда, в контрразведку. Непонятно только, почему именно таким способом, зачем его били тут.

И Полипов, мгновенно представив, что через несколько минут ему надо будет глядеть в глаза Субботину, облился холодным потом.

Однако события развернулись совсем по-другому.

— Значит, не будешь говорить? —

переспросил Свиридов Антона.

— Я не предатель.

— Тебя-то мы всё равно расстреляем. Пожалей хотя бы жену. Она на грани сумасшествия. Сына своего пожалей. Тётку свою... Ту сердечные припадки колотят, ты её фактически погубил уже. Но жену и сына можешь спасти ещё. Ну? Хотя бы предположительно?

Полипов видел, как лоб и щёки Антона покрылись крупной испариной.

— И предположительно я вам ничего не скажу. — Голос Антона осип, он громко глотнул слюну. — Пора бы это понять.

— Заговоришь, неправда... Косоротов!

И Косоротов втолкнул через порог Лизу. Антон и Полипов враз встали. Постояв, Полипов сел, а Антон продолжал стоять, держась за край стола.

Смотреть на Лизу было страшно. Растрёпанная, в лохмотьях, она диким взором обвела комнату.

— Сын... Где мой сын? Что вы с ним сделали?! — заголосила она, упала на колени, поползла к столу.

— Лиза! Лизонька! — Антон кинулся к жене, поднял её, но Свиридов торопливо вышел из-за стола, отшвырнул от Антона жену.

— Юрка жив-здоров пока. — И повернулся к

Антону: — Будешь говорить?

Антон вытер рукавом пот со лба.

— Мне нечего сказать... Нечего!

— Заговори-ишь! — И Свиридов рванул обитую войлоком дверь, прокричал туда: — Займитесь!

Всё дальнейшее Полипов видел и воспринимал сквозь какой-то серый качающийся туман. Из комнаты, в которую вела обитая войлоком дверь, выбежали трое чёрных людей, схватили Лизу, поволокли. Антон бросился было вслед, но потом попятился назад, чуть не стоптал его, Полипова, и прижался к стенке спиной. И так стоял, крепко зажмурив глаза, царапая эту стену пальцами, обламывая ногти, слушая тяжкие стоны жены из соседней комнаты... Полипов поглядел на тот участок стены, которую царапал Антон. И увидел в том месте ободранную штукатурку, сквозь которую проступала в нескольких местах занозистая дрань. И он понял, что Антон не раз уже стоял вот так и царапал стену. И его замутило, в голове всё поплыло.

Сколько времени всё это продолжалось, Полипов не знал. Он очнулся от пронзительного голоса Лизы:

— Где мой сын? Вы его замучили? Вы его убили?!

Лизу, видимо, только что вытолкнули из-за

войлочной двери, она ползла по полу, пытаясь встать. Голое плечо и ладони её кровенились.

— Пока ещё нет. Но замучаем, если будешь молчать!

Это Свиридов опять говорил Антону, который всё так же стоял у стены, закрыв глаза.

— Покажите мне сына! Вы его убили... Покажите мне сына! — без конца повторяла и повторяла Лиза. Она поднялась наконец, но, никого не узнавая, крутилась на одном месте.

— Хорошо. Сейчас ты увидишь сына. Косоротов!

Косоротов так же молча, как Лизу, втолкнул из коридора в кабинет Юрку.

— Мама! Mamочка!

Лиза мгновенно узнала сына, цепко схватила его дрожащими руками, марая своей кровью его грязную рубашонку, и вместе с ним опустилась на пол — ноги её не держали.

— Сынок! Сыночек, ты жив? Жив!

— Я жив, мама... — Он взял в ладошки её лицо. — Какая ты стала, мама!

— Они били тебя? Они били тебя?

— Нет, меня не били. Только я есть хочу. Тут плохо кормят... — И мальчик увидел отца и Полипова. — Папка! Дядя Петя!

Он хотел было подбежать к отцу, но не мог вырваться из цепких рук матери.

— Какой папка? Его нету, он не приезжал ещё из Томска, — торопливо заговорила Лиза. — А у меня телеграмма есть. Мы ведь поедem сейчас к нему в Москву. А ты поспи, поспи, сынок, перед дорогой. Усни и есть не будешь хотеть. А я песенку тебе спою, которую папа сочинил...

И она, прижимая к себе сына, запела тоскливо и жалобно, с трудом припоминая слова:

Над городом запах черёмух... струится,
Давно отступила уж зимняя стынь...

— Ну, так будешь говорить? — резко спросил Свиридов, подойдя к Антону, — Или — прощайся с сыном.

Он подождал немного и, видя, что Савельев молчит, дёрнул бесцветными, сухими губами, сказал в третий раз:

— Врё-ёшь, заговоришь! — И, оторвав мальчишку от матери, толкнул его за войлочную дверь. — Займитесь и этим щенком!

— Мама! Мама-а! — истошно закричал Юрка уже из-за двери.

Этот крик звоном отозвался в голове у Полипова. Чувствуя, как по груди и спине, между лопатками, обильными ручьями стекает холодный пот, он встал, хотел было куда-то идти.

— Сидеть! — рявкнул Свиридов.

Полипов сел и стал тупо, ничего уже не ощущая, глядеть на Лизу. А та, страшная, косматая, как-то странно ползала по полу, ощупывая каждую половицу. Потом посидела в задумчивости несколько секунд и начала руками ловить воздух, потрескавшиеся губы её что-то шептали. И Полипов различил еле слышимое:

— Юра... Юронька, сынок? Куда вы дели моего сына?!

Она, шатаясь, встала, ткнулась в стол, потом в стену. Прислушалась к чему-то, улыбнулась. Глаза её, зеленоватые, бездонно глубокие глаза, которые так нравились Полипову, горели нездоровым, но красивым огнём...

Полипов отлично понимал, что там, за обитой войлоком дверью, происходит ужасное. Там, почти на глазах у беспомощного отца и обезумевшей матери, пытаются ребёнка. Но то ли он притерпелся ко всему, то ли просто внутри у него всё одеревенело — он не испытывал того головокружения, от которого несколько минут назад почти потерял сознание, его только сильно тошнило, и он боялся, что его вырвет.

Антон не царапал теперь стену, глаза его были открыты, зубы крепко сжаты, так крепко, что отчётливо обрисовывались челюсти, делая его лицо некрасивым. И ещё Полипову казалось, что зубы Антона с тихим треском крошатся.

А Лиза между тем всё скользила по стене к обитой войлоком двери. И вдруг оттуда раздалось:

— Ма-ама-а! Мам...

— Хватит! Хвати-ит! — Свиридов рванул воротник. Потом схватил себя за горло, задыхаясь. — Увести всех! Всех Савельевых!

Свиридов подбежал к шкафу, достал бутылку. Снова застучало стекло о стекло.

* * *

Выпив, Свиридов успокоился, сел опять за стол, нервно поворошил бумаги, нашёл что-то нужное, минут десять писал, протыкая пером тонкие листы.

— Ужас... Ужас... — пробормотал Полипов, всё ещё обливаясь потом. Он сидел согнувшись, глядя в пол. — Всё-таки объясните мне — почему я здесь? Зачем били меня? Зачем...

— А это не тебя, это меня били, — прервал его Свиридов. — Это я сам себя бил.

— Вы, кажется... Не Лиза, а вы сошли с ума.

— Верно, — согласился Свиридов. — Около того. Так как же, Полипов! Вот вы видели... На ваших глазах сошла с ума женщина, которую вы, как вы говорите, любите... Теперь, после этого, вы поняли... или хотя бы задумались — зачем рождается человек? Зачем живёт? В чём смысл

жизни? Где правда, истина, а где ложь?

Говоря это, Свиридов встал, скрестил на груди худые, жилистые руки. Глаза его были пустые, холодные.

— Мне только об этом и осталось думать... — В голове Полипова стучало: «В самом деле — сумасшедший».

Но, как бы опровергая это, Свиридов сказал:

— Жаль. Но когда-нибудь задумаетесь. Каждый человек об этом всё равно задумывается — рано или поздно... Косоротов!

Полипов сжался. Что ещё выкинет сейчас этот безумец Свиридов? Ах да, вызовет на допрос Субботина...

Но когда появился Косоротов, Свиридов спросил, глядя куда-то в угол комнаты:

— Как она, Савельева Елизавета?

— Совсем, должно, тронулась, вашблагородь. Связала в узелок какие-то тряпки, ходит по камере, у всех спрашивает, не опаздывает ли поезд. В Москву, грит, собралась, к мужу.

— Ага... А старуха Савельева?

— Стонет лежит, за сердце держится.

— Ага, — опять протянул Свиридов. — Вышвырни их вон, к чёртовой матери. На сумасшедших чего пули тратить. И мальчишку выброси. Вот... — И Свиридов протянул несколько бумажек. — И на этого тут документ, — кивнул

Свиридов на Полипова. — Тоже пускай идёт, выпустишь.

Косоротов с удивлением глянул на Полипова. Однако, не привыкший обсуждать поступки начальства, произнёс:

— Слушаюсь, вашблагородь.

Косоротов ушёл, а Свиридов опустился на тот стул, на котором сидел недавно Антон Савельев, закрыл лицо ладонями.

— Я что же... действительно могу идти? — тихо спросил Полипов.

— Можете.

— Но как же я объясню... своим... каким образом я вышел отсюда?

— Мне какое дело? Объясняйте. Хотя это действительно вам будет трудно. Мой вам совет — сегодня же ночью убирайтесь из города подальше и там попытайтесь пристать к любой части Красной Армии. Так вы, может быть, спасёте себя, а главное — новониколаевских подпольщиков. Я ведь действительно оставил ваш донос без внимания. А другой не оставит... Впрочем, можете открыто вступать и в белогвардейский отряд здесь, в городе. Дело ваше. Или езжайте в Томск, к Лахновскому, он давно вышел из тюрьмы...

— Да кто же вы, в конце-то концов?! — изумлённо спросил Полипов, как когда-то на квартире у Свиридова.

— Я? — Свиридов отнял ладони от лица. Отвислые щёки его подрагивали. — Сейчас, пожалуй, уже никто. А в прошлом... в прошлом такой же подлец, как и ты...

— Я всё-таки попросил бы...

— Оставь, пожалуйста, эмоции, — устало сказал Свиридов. — Я когда-то смалодушничал, как и ты. Здесь же, в этом городе, в Новониколаевской тюрьме. Ведь мы тогда вместе сидели. И ты помнишь, отец или, кажется, дядя этого Антона Савельева сказал мне: лет через пять ты станешь платным осведомителем царской охраны. А я стал раньше. Я, в прошлом меньшевик, по совету того же Лахновского примкнул открыто к большевикам. И я их выдавал, выдавал! В конце концов меня стали подозревать, относиться недоверчиво. Видимо, я где-то был не так осторожен и хитёр, как ты... Меня разоблачили бы безусловно, но началась революция. В суматохе было уже не до меня, я перебрался из Томска в Новониколаевск и здесь...

— И здесь вы превратились в пьянчужку, — сказал Полипов.

— Нет, тут со мной случилось ещё большее несчастье. Меня вдруг стали мучить вопросы — простые вопросы, которые вчера ещё были мне абсолютно ясны: а что, собственно, происходит на земле, что случилось в жизни, куда она идёт? И я, грамотный, культурный человек, интеллигент, — я

когда-то преподавал в гимназии, я учил детей добру, человечности, справедливости, — кто же я, что я, зачем я на земле?

— Действительно, — сказал Полипов.

— Перестаньте! — Свиридов резко поднялся. — Мне вам всего не объяснить, а вам, кажется, не понять.

Он отошёл к окну, опять крестом сложил руки на груди, сжимая ладонями плечи, будто ему было холодно, долго смотрел сквозь решётки на вечернее небо. И вдруг спросил:

— А вот Антон Савельев — он знает, кто он, что он, зачем он на земле? А? На его глазах жена с ума сходит, а он молчит. На его глазах сына терзают, а он молчит. Вы видели, он даже предположительно никого не назвал. Отвечайте! Как он мог? Откуда у него такие силы? Во имя чего?

Полипов не знал, что отвечать и надо ли отвечать.

— Или... или ему ясно, с самого начала ясно то, что мне стало вдруг неясно? — Свиридов потёр виски длинными пальцами. — Что ж, его расстреляют. Его — чуть раньше, нас с тобой — чуть позже. Помнишь, как он сказал? «Народ придавит вас к ногтю». — Свиридов болезненно усмехнулся. — Как вшей, значит. А? Придавят?..

— Чего вы спрашиваете? Вы же только что

доказывали Антону обратное.

— Ты болван, Полипов. Какой ты болван! — будто даже с сожалением произнёс Свиридов.

— Вы что же, затем, чтобы сказать мне это... и вообще высказать свои... не знаю, как назвать... сомнения... и кинули меня в этот застенок, заставили смотреть на... Чтобы и у меня возникли такие же сомнения, такие же вопросы?

— За этим ли, за другим ли — мне уж и самому не понять. — Свиридов просунул руку сквозь решётку, сдёрнул оконный шпингалет, толкнул створки. — Захотелось — и арестовал. Я мог бы расстрелять вас вот в этом кабинете, вот из этого нагана. — Он подошёл к столу и действительно вытащил из ящика наган.

Полипов дёрнулся со стула, но полностью, во весь рост, разогнуться не мог, так и застыл, скрюченный, застыл от смертельного испуга — в лице Свиридова не было ни кровинки, глаза, опять пустые, холодные, безумные глаза Свиридова продавливали его насквозь.

— Да, я мог бы, но не знаю, будет ли это справедливо, — заговорил Свиридов тихо. — Я мог бы освободить и Антона Савельева, но тоже не знаю, будет ли это справедливо. Поэтому самое справедливое — пустить себе пулю в висок.

Полипов с ужасом глядел на Свиридова, на его пустые глаза, на белые, как бумага, щёки, на

сухие, побелевшие на сгибах пальцы, сжимающие рукоятку нагана. И ему стало до пронзительности ясно, что Свиридов сейчас действительно застрелится.

— У меня есть дочь, Полипов. Вы её видели, кажется. Её Полиной звать, знаете? — зачем-то спросил Свиридов.

— Да. Мельком видел.

— Если вы останетесь живы, скажите ей... когда-нибудь, если выйдет случай, что отец её запутался, что у него не было выхода. И вообще знайте... если потом станет ясно, что я шёл против течения, утром пытался вернуть прошедшую ночь, — что ж, значит, всё правильно. Если же... если окажется, что я боролся за правое дело, — вы меня простите, что не выдержал. Я старался, но нет больше сил. Постарайтесь понять, что сам перед собой я был честен. А ведь сам перед собой каждый должен быть честен. Впрочем, зачем я вам говорю всё это?

«Действительно, зачем?» — подумал Полипов.

— А теперь уходите! Косоротов вас выпустит.

...С бьющимся сердцем, не веря в своё освобождение, боясь, что кто-то его увидит, Полипов вышел из окованных железом дверей здания контрразведки. Когда он шёл вдоль высокого забора, поверх которого была натянута в

несколько рядов колючая проволока, услышал выстрел, долетевший, как он догадался, из открытого окна кабинета Свиридова. Звук был тихий, не страшный — будто кто над ухом переломил сухой прутик...

Этой же ночью, воспользовавшись советом Свиридова, Полипов, никуда не заходя, ни с кем не повидавшись, исчез из города.

На расстрел Антона Савельева повели первой июльской ночью, тёмной и хмурой. Было, наверное, часа три, но летние ночи короткие, на востоке, в той стороне, куда его вели, плотные тучи, застилавшие небо, начали синевато промокать. Погромыхивал где-то далёкий гром.

Справа от Антона шёл пожилой, с редковатыми висячими усами конвоир; время от времени зло покрикивал на Антона:

— Давай, давай... пошибче шагай! И так припоздали, рассвет скоро. А-а, лихоманец! — И толкал его прикладом.

Четверть часа назад на тюремном дворе этот конвоир, застёгивая ему наручники, шепнул:

— Перепилены они. Мимо извилистого оврага поведём — прыгай вниз, как зачну кашлять, там ждут...

Сердце Антона забилося: неужели и на сей раз удастся избежать смерти?

Вышли за город, пошли редковатым березнячком. Антон знал: березнячок скоро кончится, начнётся довольно густой смешанный лес, а тут берёт начало этот самый извилистый овраг, не очень глубокий, поросший всякой древесной мелочью. «Удастся ли? Кто там ждёт? Субботин, наверное, кто же ещё...»

Антон волновался так, как никогда не волновался, даже в самых отчаянных и безнадёжных положениях во время своих многочисленных прошлых побегов.

Они давно шли по краю оврага, Антон прислушивался, не кашлянет ли усатый конвоир, но слышал только, как поёт неподалёку первая, сонная ещё, зорянка.

Как он ни ожидал условленного сигнала — услышал его неожиданно. Усатый конвоир, всё так же идя сбоку, кашляя, чуть отвернулся. Антон ударил его плечом, отшвырнул, в два прыжка очутился на краю оврага, прыгнул вниз, покатился по скользкому травянистому склону, чувствуя, что руки его свободны, только звенят на обоих запястьях нестрашные теперь железки. Наверху раздались крики конвойных и беспорядочная стрельба. Хотя сверху стреляли и наугад — на дне оврага совсем было темно, — Антон слышал, как вокруг глухо шлёпают в сырую землю пули.

— Живо... сюда! — сказал кто-то сдавленно

(по голосу Антон узнал наборщика городской типографии Корнея Баулина), дёрнул его в сторону, впихнул в какую-то земляную щель и сам лёг рядом, тяжело дыша. А близко, совсем близко слышался уже топот ног, и усатый конвоир кричал:

— Туда он побёг, лихоманец, туда! Вниз по оврагу. Вон он, вон он! Сто-ой, твою...

Опять наперебой затрещали выстрелы, топот ног и хруст веток под сапогами стали удаляться.

— Живо! — Баулин поднялся, побежал вверх по оврагу.

Антон при падении ушиб колено, но, к счастью, не очень. Прихрамывая, он побежал следом.

Саженой через пятьдесят они выбрались из оврага наверх. Там, в кустах, стояла извозничья пролётка Засухина.

— Садись, — коротко сказал, подбирая вожжи, хозяин пролётки. — На, переодевайся да спиливай колечки с рук. — Засухин кинул ему трёхгранный напильник, узел с одеждой, погнал пролётку по затравеневшей лесной дороге. Баулин нырнул в лес, будто его и не было.

Рассвет только-только занимался, зорьки свистели теперь наперебой. Пролётка катилась мягко, без стука.

К берегу речки Ини, протекавшей неподалёку от города, подъехали, когда совсем стало светло.

Остановились в прибрежных тальниках. Откуда-то подбежал долговязый парень лет двадцати пяти, поздоровался.

— Это Данилка Кошкин, сынок Ивана-конвоира, который с усами-то, — сказал Засухин Антону. — Он тебя на лодке перевезёт на другой берег, а там... Ну, он знает куда... Лучше тебе подале от города быть пока. Так Субботин сказал. Поклон тебе от него. Ну, айда, пока совсем день не разгулялся.

— Один вопрос, Василий Степанович. Как там мои — Лиза, Юрка, тётка? Свиридов, следовательно, застрелился, подлец, а перед этим выпустил всё же их.

— Тётка, Антон, померла вскорости, — глухо проговорил Засухин. — Не выдержало сердце... А жена твоя Лизавета — ничего, слава богу. Оклемалась вроде. И сын здоров. Ты не беспокойся, за ними приглядывают наши люди. И про Свиридова слыхали. Про дядю твоего Митрофана знаем. Полипов где вот? Тоже сплосшал где-то, в лапы того Свиридова, говорят, попал.

— Раз я видел его там... Только раз, во время допроса. Расстреляли, вероятно.

— Может, и так, — нахмурился Засухин. — Бывали ночи — по сотне людей они расходовали.

Сидя в лодке, Антон торопливо дышал полной грудью, оглядывал пустынную речку. Данило

Кошкин молча бил вёслами.

— Увидишь отца — скажи ему спасибо от меня, — сказал Антон, когда пристали к берегу.

Парень хмыкнул.

— Пулю бы ему — это бы как раз по справедливости стало.

— Это как же? — удивлённо спросил Антон.

— А так... Думаешь, он за так согласился помочь нам? Чёрта с два! Деньги ему большие уплачены были. Жадный он до денег. Я думал — всё равно обманет. Нет, всё выполнил, что было договорено.

— Вот оно что!

— А ты как думал? Я с ним, с кровососом, давно разошёлся. — Помолчал и добавил: — По идейным мировоззрениям.

* * *

Силантия Ивановича Савельева и его жену Устинью полковник Зубов распорядился повесить на главной улице Михайловки, в присутствии всех жителей деревни.

13 июля 1919 года, в воскресенье, после полудня, Михайловских баб, стариков и ребятишек стали сгонять в середину дереvушки, где стоял развесистый тополь. На могучей ветке дерева болтались две намыленные верёвочные петли, к

стволу была прислонена непокрашенная скамейка. Над деревней стоял шум, крики, детский плач. Но головорезы из отряда Кафтанова, бывшего Михайловского лавочника и первого на всю округу богатея, объявившегося в деревне со своей бандой одновременно с белогвардейцами, безжалостно выгоняли всех из домов, теснили на место казни.

Верстах в пяти от Михайловки в просторном голубовато-белёсом небе ослепительно горели под солнцем могучие гранитные утёсы Звенигоры. За один из утёсов зацепилось небольшое, первозданной чистоты облако, долго стояло там, чуть покачиваясь, будто наблюдая, что происходит в деревне. Потом, оставив редкие клочья на острых камнях, поплыло дальше, в сторону большого села Шантары, лежавшего неподалёку за Звенигорой, вдоль берега довольно широкой речки Громотухи.

Казнили старого Силантия за то, что он помог укрыться партизанскому отряду в неприступных каменных теснинах Звенигоры. Этот большой отряд, организованный бывшим председателем Шантарского волостного исполкома Совета Поликарпом Кружилиным ещё год назад, гоняясь по лесам за возникшей во время белочешского переворота кулацкой бандой Михаила Лукича Кафтанова, фактически контролировал огромную таёжную область в верховьях реки Громотухи, препятствуя сбору податей, недоимок за прошлые

годы, мобилизации людей в колчаковскую армию. А нынче весной, скрываясь всё в тех же громотухинских лесах, партизаны небольшими группами начали объявляться на пустынных железнодорожных перегонах южнее Шантары, портили железнодорожный путь, развинчивали и увозили прочь рельсы, самодельными минами взрывали небольшие мосты. В марте, апреле и мае железнодорожное сообщение между Новониколаевском и Барнаулом почти прекратилось. Тогда-то и был послан из Новониколаевска регулярный белогвардейский конно-пехотный полк под командованием полковника Зубова со специальным заданием — во что бы то ни стало уничтожить отряд Кружилина.

Разгрузившись на станции Шантара в начале июня, полк двинулся через Михайловку в тайгу, где к Зубову примкнул и Кафтанов со своей сотней головорезов. К концу месяца Зубову и Кафтанову удалось выгнать из тайги наполовину перебитый партизанский отряд, в котором оставалось всё же около трёхсот человек, но совершенно почти не было боеприпасов, оттеснить его к самой Михайловке, на голое степное место. Оторвавшись от преследователей на несколько часов, перейдя вброд обмелевшую Громотуху, протекавшую от Михайловки в трёх верстах, Кружилин хотел увести отряд через деревню на восток, в сторону

Огнёвских ключей. С юга и севера по пятам наступали Зубов и Кафтанов. На западе стеной стояла Звенигора, за ней, за Звенигорским перевалом, — Шантара, где, по сведениям вездесущего начальника партизанской разведки Якова Алейникова, был хотя и малочисленный, но хорошо вооружённый белогвардейский гарнизон. Оставался восток, эта дорога на Огнёвские ключи, но Кружилин не был уверен, что Зубов заранее не послал туда, в обход, часть своих войск, чтобы заткнуть и эту дыру.

— Яков, проверить надо Огнёвскую дорогу, — сказал Кружилин, спешиваясь посреди деревни, возле колодца. Достал ведро воды, начал жадно пить.

— Проверим, — ответил Алейников, невысокого роста парень, щупловатый, с тонкими губами. И, остановив пожилого партизана с рыжей бородкой, крикнул: — Ну-ка, живо Фёдора Савельева ко мне со всем эскадром! — И тоже припал к ведру.

Кружилина и Алейникова обступили испуганные и любопытные жители деревни.

К колодцу, взбивая пыль, подскакало десятка два всадников. И тут в толпе слышались удивлённые возгласы:

— Глядите-ка, Фёдор! Сынок-то Силантия!

— Батюшки, а рядом-то с ним, с Федькой,

кто? На гнедой лошадёнке, в кожанке-то? Баба ить, хоть и в штанах? Не Анна ли Кафтанова?

— Не ври. С чего дочке Кафтанова в партизанах быть!

— Да ить она! Ты глянь, ты глянь!

— Кирька?! Инютин? — закричала какая-то старушонка. — И ты в партизанах?

— Какой Кирька? Сынок старосты, что ли?

— Ну! Он!

— Господи Иисусе! Эк всё перебулькалось! А староста одноногий в отряде Кафтанова в казначеях ходит, Акимка-мельник сказывал...

— Да это что за партизаны такие?

— И Ванька Савельев, grit ещё Акимка, меньшей парень Силантия-то, у Кафтанова воюет...

— То-то и дело... Чудеса, одним словом...

Пока раздавались эти возгласы, Алейников вскочил на коня, махнул рукой, эскадрон, подняв облако пыли, вылетел из деревни. Но через час вернулся, потеряв двух человек убитыми.

— Прямо под пулемётный огонь врезались. На Журавлиных болотах, — коротко объяснил Яшка. — А преследовать нас не стали. Знают, сволочи, что никуда теперь нам не уйти.

Этого-то Кружилин и боялся. Журавлиные болота тянулись на много километров. Единственная дорога, пролегающая через топи, была перерезана. Отряд оказался в мешке.

Кружилин выслушал донесение Алейникова, сидя на лавке в тесной избёнке Силантия Савельева, опустил голову и стал молча и жадно курить.

Фёдор, двадцатичетырёхлетний парень, широкогрудый, сильный, со сросшимися бровями, под которыми сверкали тёмные, чуть угрюмые глаза, соскочив во дворе со взмыленного жеребца, по привычке бросил поводья Анне, вытер небольшие запылённые усы и тоже зашёл в избу, гремя шашкой. За дощатым столом несколько партизан что-то хлебали из мисок. Устинья, старая, иссохшая и почерневшая, как прошлогодний лист, качнулась к нему:

— Феденька, сынок... — И заплакала. — А Ванюша-то как? Где? Не слышал, живой он?

— Ну... живой, поди, коли со мной пока не встретился, — проговорил Фёдор глухо. — А встретится — мёртвый будет.

И отстранил тихонько мать. Силантий, белый как лунь, сидел у дверей на скамеечке. Он только поглядел на сына, но ничего не сказал.

В избу зашёл Панкрат Назаров, бывший председатель Михайловского Совета, а теперь заместитель Кружилина, мужик лет за сорок, уже наполовину седой, по-крестьянски угловатый и неповоротливый. Полгода назад он был тяжело ранен, пуля застряла где-то в груди. Недели две изо рта у него текла кровь, никто не думал, что он

выживет. Но здоровья Назаров был отменного, кровотечение прекратилось, и он встал на ноги.

— Должно, ты её, пулю-то, с кровью выплюнул, — решили партизаны.

— Нет, чую, там сидит, зараза, — сказал он как-то. — В лёгком, должно. Как запыхаюсь, так и чуетя. Да нехай, весом потяжелше буду.

Человек спокойный, рассудительный и справедливый, за что михайловцы несколько раз выбирали его в деревенские старосты, Назаров и в отряде пользовался большим уважением. Кобура с маузером сильно оттягивала ремень, оружие не шло ему, казалось лишним, ненужным. Глядя на Назарова, никак нельзя было сказать, что он умеет обращаться с ним.

— Людей покормили, — сообщил он. — Патроны я подсчитал — слёзы. Помирать, что ли?

Кружилин поднял лобастую голову, режущие глаза его скользнули по Назарову, по Фёдору, остановились на Силантии.

— Помирать — так не задёшево. На открытом месте мы и получасового боя не выдержим. Веди людей к Звенигоре, укроемся в ущельях. Ступай.

Назаров вышел. Дохлебав из мисок, заспешили и остальные. Сквозь гнилые стены избёнки слышно было, как ржали по всей деревне лошади, стучали повозки с ранеными, раздавались крики и команды.

— Так что же, Силантий Иванович? — вздохнув, спросил Кружилин, видимо, уже не первый раз. — Может, всё же укажешь нам дорогу в Зелёную котловину? Кроме тебя, некому. Я просил двух-трёх стариков — отказались. Боятся.

Старик пригладил редкие на остренькой макушке волосы, но промолчал. Устинья вытерла мокрые дряблые щёки и опять всхлипнула:

— Да ить, знамо дело, решат тогда они любого, белые-то... Как придут, так и решат.

— Ну, тогда всех нас порешат. Федьку, сына твоего, первого, — жёстко сказал Кружилин.

— Цыть-ка, ты, старуха, — проговорил наконец Силантий негромко. — Не в том дело, что под смерть меня подведут — пожил я, слава богу, — а вот отыщу ли дорогу? В котловине этой почти полвека не бывал. Ну, может, господь поможет. Айдайте. — И поднялся. — Брёвен только подлиньше с пяток захватите, плашек с дюжину да гвоздей...

Зелёная котловина, о которой шла речь, находилась где-то среди каменных теснин Звенигоры. Это было нечто вроде высокогорного луга, поросшего буйными, никогда не мятыми травами, окружённого гладкими отвесными скалами, из-под которых во многих местах били холодные ключи. Туда вела единственная горная

тропа, она вилась по каменным карнизам над бездонными пропастями, по ней можно было только пройти по одному да в крайнем случае провести в поводу лошадь.

Старики боялись, что ребяташки соблазнятся этой котловиной, пойдут и погибнут, дорогу туда держали в строгом секрете. Кружилин, выросший в Михайловке, в детстве несколько раз пытался найти начало этой таинственной горной тропы, но безрезультатно.

Расчёт Кружилина был прост. В голых каменных ущельях белогвардейцы всё равно их скоро перебьют. Если же удастся проникнуть в неприступную котловину, ведущую туда единственную узкую тропинку оставшимися боеприпасами можно держать долго, очень долго, а там...

Но что «там», Кружилин не мог знать и старался об этом не думать.

Солнце было ещё довольно высоко, когда Кружилин, Алейников, Фёдор и Силантий Савельевы слезли с брички у подножия Звенигоры. Старик, кряхтя, огляделся, опираясь на костыль, тяжело дыша, полез вверх. Шагов через пятьсот остановился, огляделся.

— Ну, вот тут, кажись. По этой осыпи идите. Брёвна и плахи с собой возьмите. Саженой через сорок осыпь кончится, как раз перед пропастью.

Глыбкая она страсть, а неширокая, сажени в две. А за ней тропа и начинается. Брёвнышки перекинете, плашек поперёк настелете — перейдёте легонько даже с лошадьми. А там тропа до места вас доведёт, ежели не порушилась за эти-то годы. А я обратно потрясусь, тяжко мне... — И тут только будто впервые увидел сына, обнял его. — Прощай, что ли, сынок, храни тебя господь.

— Может, с нами всё же, Силантий Иванович? — предложил Кружилин.

— Нет, уж куда мне. А вы поспешайте.

И спустился к бричке, влез в неё, поехал в деревню, мимо подходивших и подъезжавших к Звенигоре партизан.

К исходу дня, побросав бесполезные теперь повозки, унося на руках раненых, уводя в поводу упиравшихся, всхрапывающих лошадей, остатки отряда Кружилина скрылись в горах.

Ух как рассвирепел полковник Зубов, тонкий, высокий человек с тугими, чисто выбритыми щеками, поняв, что Кружилин ушёл от него! Нашёлся кто-то из деревенских, доложил о старом Силантии. Зубов, страшный в гнев, поздно вечером прискакал в деревню, бросил поводья своему сыну Петьке, мальчишке лет десяти-двенадцати, всё время находившемуся при отце вроде ординарца, заскочил в избу Савельева.

— Скотина! — Он дважды полоснул старика

плетью. Крепкие щёки Зубова тряслись, как студень. — Взять его! Засечь насмерть! При всём народе!

— Помилуйте, батюшка! — повалилась в ноги ему Устинья. — Заставили его, как откажешься? Помилуйте! Ведь сын мой, Иван, у вас служит. Сын, Ванька... Ваше благородие?!

— Ма-алчать! — багровея, закричал Зубов. — Какой ещё сын? Ты кто такая? И эту взять!

Сечь Силантия и Устинью всё-таки не стали. Больше недели обоих продержали под арестом в крепкой кафтановской завогне. А потом Зубов распорядился их повесить.

* * *

Иван Савельев, младший сын Силантия, русоволосый, поджарый, как гончая собака, с длинными руками, за преданность Кафтанову был при нём коноводом, кучером, телохранителем. Он старательно и безропотно нёс все обязанности, ибо Кафтанов давно, ещё до восемнадцатого года, обещал отдать за него единственную свою дочь Анну.

Весной восемнадцатого года, когда началась вся эта кровавая карусель, Анна исчезла из деревни, оказалась вместе с Фёдором в партизанском отряде Кружилина.

— С-сучка! — коротко сказал бельмастый сын Кафтанова Зиновий, узнав об этом, и другой, здоровый глаз его страшно сверкнул. — И любовь у неё сучья. Как за кобелём, за братцем твоим Федькой всё бегала. И сейчас...

Бегала, Иван это знал. Кафтанов тогда не единожды самолично сёк дочь и таскал за волосы, пробуя отвадить её от Фёдора, но это мало помогало. В те времена обещать-то обещал Кафтанов отдать за Ивана, своего работника, Анну, но — видел и понимал Иван — медлил, колебался. А когда Анна оказалась в партизанах, у Михаила Лукича аж дыбом поднялась борода, красные прожилки в глазах стали ещё толще. И он сказал со страшным спокойствием:

— Служи, Иван. А её, Аньку, достанем... Кину её к твоим ногам. Хочешь — топчи её до смерти, хочешь — милуй. Дело твоё. Слово даю.

Год прошёл с тех пор, но «достать» Анну, дочь свою, Кафтанов всё никак не мог. Да и что получится, если достанет, если «кинет» Кафтанов дочь свою к его ногам? — невесело размышлял Иван всё чаще. Пойманный как-то кружилинский партизан, которого, по приказу Кафтанова, Иван повёл расстреливать, рассказал ему, что Анна наравне с мужиками служит в Фёдоровой эскадроне, в боях, даже в самом пекле держится всегда возле Фёдора, оберегая всячески его от пуль

и шашек.

— А жить, как мужик с бабой, вроде не живут, нет, незаметно. Это и дивно всем, — говорил партизан. — А мне не диво. Анна — девка, каких и не бывает теперя, до свадьбы — режь — не позволит ничего такого.

Партизана того Иван расстреливать не стал, отпустил на свой страх и риск (Кафтанов, узнай об этом, самого Ивана бы расстрелял). Партизан, кривоногий мужичок из деревни Казанихи, обрадовался, сказал:

— Дык, можа, и ты айда к нам? К Кружилину-то?

— Куда-а... Запутался я, брат, до конца, как рябчик в силке. Фёдор, братец, самолично меня зарубит.

— Что Фёдор! У нас Кружилин Поликарп над всеми командир. Он мужик понимающий, душевный.

— Ты иди-ка, пока я в самом деле тебя не шлёпнул! — вдруг, рассердись, крикнул Иван.

И с того дня Иван всё скучнел, чернел лицом, сделался вялым. Ночами его не брал сон, ворочаясь, он всё думал: отчего же он запутался, кто в этом виноват? Сам ли он со своей любовью к Анне, Анна ли, отказавшая ему в своих чувствах, Кафтанов ли, обещавший отдать за него Анну, время ли, суматошное и кровавое, всё перепутавшее?! Или

всё это, вместе взятое?

Ответить на это Иван себе не мог.

* * *

Узнав, что Зубов распорядился повесить отца и мать, Иван побледнел, закачался.

— Михаил Лукич?!

— Ну! — крикнул Кафтанов. — Что я могу? Надо ему было, старому чёрту, дорогу в эту котловину показывать? Как теперь партизан взять?

Партизан действительно было не взять. Узкий каменный карниз день и ночь охранял караул из нескольких человек. Как рассказывали, несколько партизан лежали на крохотной площадке за сооружённым из камней бруствером, и, едва впереди показывался белогвардеец, кто-нибудь из партизан не спеша прицеливался и стрелял. Белогвардеец отваливался от каменной стены и, болтая руками, летел в пропасть. Только и всего.

— Тогда я сам... я сам пойду к полковнику, попрошу его.

— Давай, — усмехнулся Кафтанов. — Про Мишку Косоротова слышал? Он тебя живо в его лапы отдаст.

Про какого-то Косоротова в отряде Кафтанова ходили страшные слухи. Видеть его никто не видел, но было известно, что в разведроте полка есть

некий гражданский человек, мастер-палач, умеющий заставить говорить любого пленного. И толковали про такие подробности — действительные ли, выдуманные ли, — от которых в жилах стыла кровь.

Загнав партизан в Зелёную котловину, убедившись в невозможности их оттуда выбить, Зубов решил уморить их голодом. Он оставил у подножия Звенигоры батальон солдат, остальных отвёл на отдых в Михайловку. Сам, взяв на всякий случай для охраны роту солдат и кавалерийский эскадрон, уехал на кафтановскую заимку, в Огнёвские ключи.

На этой заимке, верстах в двадцати от Михайловки, на берегу глубокого и светлого таёжного озера, стоял большой, в несколько комнат, дом, рядом баня, три-четыре сарая, конюшня. Место было глухое, дикое, когда-то Кафтанов устраивал тут пьяные кутежи с женщинами. Теперь стояла здесь тишина, в конюшне только побрякивали удилами нерассёдланные лошади да бесшумно сновали по затравеневшему двору полковничьи ординарцы. Сам полковник, хмурый, неразговорчивый, уже несколько дней подряд со своим малолетним сыном ловил с лодки рыбу.

Кафтанов, боясь, что его люди будут тревожить пьяными криками отдых полковника,

тоже расквартировал их в Михайловке, с собой на заимку взял лишь Ивана да Зиновия.

Утром 13 июля, несмотря на зловещее предупреждение Кафтанова, Иван, чувствуя, как холодеет в животе, подошёл к дверям самой большой комнаты, перевёл дух, стукнул два раза и, дождавшись ответа, шагнул через порог.

Зубов с сыном завтракали. Полковник, не раз видевший до этого Ивана, удивлённо поглядел на него, долго не мог понять, чего он хочет. А когда понял, начал багроветь.

— Вон как! Этот... этот — твой отец?

— Ваше высокоблагородие! — взмолился Иван. — Старик же... из ума выжил.

— Во-он! — закричал полковник, срывая с шеи салфетку, комкая её. Иван не помнил, как выскочил из дома, сел на лавку у стены, зажал руками пылающую голову.

И час спустя он сидел так же. Зубов, выйдя с удочками, крикнул:

— Савельев!

Иван встал.

— Что служишь верно — хвалю. Отец будет... будет наказан. А мать помилуем, не виновата... Я послал сказать.

И ушёл с удочками на озеро. А Иван стоял и стоял столбом, и казалось, будет так стоять вечно.

Согнанные к тополю люди волновались, слышались невнятный ропот, женский плач. И вдруг всё смолкло, толпа замерла в оцепенении — вели Силантия и Устинью.

Старик шёл твёрдо, обиженно поджав губы, глядя прямо перед собой. Устинья плелась чуть сзади мужа, озиралась вокруг, будто не понимая, зачем собралась тут эта огромная толпа. Увидев болтающиеся на суку петли, она вскрикнула и осела в дорожную пыль. Два белогвардейца взяли её под руки, поволокли под дерево.

В толпе людей недалеко от тополя стоял в рваном армяке Яков Алейников, поглаживая дрожащей рукой приклеенную бороду, угрюмо смотрел, как белогвардейцы устанавливают под деревом скамейку. Больше трёх суток подряд, ободрав в кровь руки и ноги, он лазил по скалам, окружавшим Зелёную котловину, соображая, нельзя ли где спуститься вниз. И нашёл-таки более или менее пригодное для этого место. Сегодня ночью, под покровом темноты, связав несколько ремённых вожжей, он спустился по отвесной скале почти с пятидесятисаженной высоты и к утру был в избе Михайловского мужика Петрована Головлёва, который и раньше оказывал партизанским разведчикам кое-какие услуги.

Когда стали сгонять на казнь, Головлёв хотел спрятать Алейникова в подпол, но отчаянный Яшка сказал:

— А пойдём глянем, чтоб злее быть.

— А признают как?

— Ну, тебя не выдам, не бойся.

Неожиданно толпа раздалась, пропуская конника. Ординарец Зубова спешился, сказал что-то одному из белогвардейцев. Тот подошёл к Устинье, сидевшей под деревом, поднял её тычками и молча толкнул в толпу.

— Помилована, что ли? — проговорила женщина с ребёнком возле Алейникова.

— Должно, — ответил другой голос. — Може, и Силантия...

Но Силантия тот же белогвардеец ставил на скамейку. Потом и сам встал на неё, накинул петлю на худую, морщинистую шею старика, соскочил на землю.

— Прощайся, что ли, с людьми, старик, — сказал он негромко.

— А? — переспросил Силантий. — Счас... — И задумался, опустив голову. Потом поднял её и сказал: — Ну-к что... Вы Ваньше-то обскажите, как отец сгинул...

Толпа жадно выслушала эти слова и вдруг опять заволновалась, загудела.

Будто испугавшись этого, белогвардеец

толкнул ногой скамейку из-под старика.

— Силантий! — раздался обессиленный крик Устиньи. — Родимый!

И потонул в жутком стоне толпы.

* * *

Яков Алейников вернулся в Зелёную котловину через несколько дней на рассвете. Дежурившие на скале Фёдор и Данило Кошкин, тот самый сын новониколаевского тюремного конвоира, разошедшийся с отцом «по идейным мировоззрениям», втащили его наверх.

— Яковы бывают всякие, а таковский — один на свете, — сказал он довольно. Потом помрачнел. — Отца твоего повесили, Фёдор.

— Батьку?! — вскрикнул тот и, точно сваренный, сел на остывший за ночь гранит.

Утром Яков Алейников предложил дерзкий и отчаянный план:

— Выход из котловины сторожит всего-то жалкий конный полуэскадришко. Сперва до батальона солдат внизу стояло. Потом сообразили: им нас не взять, но и нам никак не выйти отсюда. Разобрали наш мосток через расселину и все почти ушли в Михайловку. Под горой всего двенадцать человек оставили, я их поштучно пересчитал. По двое в карауле сидят, остальные дрыхнут. Кони их

рядом, на луговинке, пасутся. Весь полк и банда Кафтанова в Михайловке. Сам Зубов с Кафтановым на заимке в Огнёвских ключах. В бане парятся да рыбку ловят. Правда, с ними там кавалеристов с эскадрон да рота солдат. А на дороге через Журавлиные болота сейчас всего лишь пулемётная застава стоит. Но эта застава что! Я её со своими разведчиками на себя беру, без шума ликвидируем. Короче, предлагаю: десятка два партизан спустить ночью со скалы на верёвках. Этих двенадцать, да ещё сонных, шашками изрубить — плёвое дело. Выведем отряд — и на Огнёвские ключи! Поспеем на заимку к рассвету, — а должны поспеть, чего там! — опять же сонную зубовскую охрану играючи перерубим — и снова в тайгу. А там — ищи-свищи!

Возле шалаша Кружилина на примятой траве сидели пятеро: Алейников, сам Кружилин, его заместитель Панкрат Назаров, бывший наборщик одной из новониколаевских типографий Корней Баулин и бывший городской извозчик Василий Засухин. Баулин, Засухин и долговязый парень Данило Кошкин после организации побега Антона Савельева, спасаясь от лап белогвардейской контрразведки, вынуждены были, по совету Субботина, скрыться из города. Оказавшись в громотухинских лесах, они год ещё назад пристали к кружилинскому отряду. Теперь Баулин,

немногословный человек с изъеденными свинцом руками, был чем-то вроде начальника штаба. Засухин ведал продовольственными делами в отряде. Кошкин служил в эскадроне Фёдора.

Вставало где-то солнце, золотило каменные вершины. На дне котловины, усеянном шалашами и палатками, было холодно, как в глубоком колодце, при дыхании изо рта вырывался парок. Росы не было, однако со дна котловины поднимался туман, лизал отвесные скалы. Меж шалашей и палаток паслись лошади. Партизаны, просыпаясь, кое-где разводили костры из сырых веток.

Яков Алейников излагал свой план убеждённо и весело, будто осуществить его было проще простого. Но все понимали: на словах гладко, а на деле может получиться совсем другое. И молчали пока, думая.

— Да-а, — протянул наконец всегда осторожный Корней Баулин. — Оно у тебя ловко всё, Яков. И вышло бы ничего, кабы драться было чем. А вдруг кому удастся с полуэскадрона этого на коня всё же да в Михайловку? Поднимет полк, а мы только с дыры этой каменной выползем. В лапшу нас искрошат.

— Риск, — согласился Яшка и пожал плечами, как бы удивляясь, что Баулин этого не понимает.

— Или заставу на Огнёвской дороге не

удастся целиком снять, — подал голос Назаров. — Подадут сигнал на заимку, эскадрон прискачет, за ним — пешая рота, заткнут дорогу на топях. А с тылу и весь полк подоспеет. А? Тут не то что в лапшу — в кашу перемешают. Или сами в болоте и перетопнем.

— На войне всегда риск, говорю, — хмуро ответил Алейников. — Ну, предположим, с заимки и эскадрон и рота подоспеют. Сомнём с ходу. Сомнём! Им ведь тоже на узкой дороге не шибко развернуться. Десятка два гранат у нас ещё осталось. Закидаем и прорвёмся, хотя много людей потерять можем при таком повороте. Главное — с этого полуэскадрона, что под горой, никого не упустить, чтобы полк не подняли. Но в крайнем случае, что ж? Упустим хоть одного если, уберёмся назад в котловину, только и всего. А пробовать надо. Надо!

Да, пробовать было надо, это понимали все. Раненые без лекарств умирали, девятерых уже похоронили, скудные харчи, захваченные из Михайловки, подходили к концу. Кружилин распорядился вчера забить на мясо двух лошадей. На жалких остатках муки, на лошадином мясе можно было продержаться ну ещё две недели, ну пускай даже месяц. А потом что? Голодная смерть...

Около часа рядили так и сяк. Засухин

высказал предположение — в течение нескольких ночей группами спуститься со скалы, как это сделал Алейников, по одному, по двое скрыться, рассосаться по окрестным лесам и деревушкам, а потом где-то в условленном месте собраться. Это предложение обсудили и отвергли: стоило кому-то из партизан попасться в лапы Зубова и не выдержать допроса (а люди в отряде всякие) — и конец отряду, этот единственный путь спасения будет отрезан, новое место сосредоточения будет известно... Да и раненых в отряде порядочно — как с ними?

Ещё через час план Алейникова был обсуждён на общем собрании отряда и принят.

* * *

К вечеру небо над котловиной закрылось, как крышкой, облаками — погода благоприятствовала партизанам. Под командой самого Алейникова ещё засветло опустили вниз на верёвках и вожжах ровно двадцать человек. Спустившись последним, Яков около часа вёл людей по глухому ущелью, потом — сквозь какие-то заросли, и наконец они оказались у самого подножия Звенигоры.

Белогвардейский полуэскадрон, охранявший выход из Зелёной котловины, ликвидировали бесшумно, изрубив спящих людей шашками.

Только двое, находившиеся непосредственно в карауле, по разу выстрелили из винтовок, но тут же были уложены Алейниковым. Одного он наискось рубанул шашкой, другого, кинувшегося бежать, достал пулей из маузера. Эти три выстрела хлопнули гулко, эхо пошло по горам.

А Поликарп Кружилин уже вёл отряд по узкому карнизу из котловины.

При свете разложенного ещё белогвардейскими караульными костерка партизаны стали торопливо восстанавливать разобранный мост через расселину, четверо бросились ловить стреноженных неподалёку лошадей.

— Ловко, а! Вот они, все двенадцать, — возбуждённый ещё схваткой, сказал Яков Кружилину, когда тот по первому уложенному бревну перескочил через расселину. — Ты давай поспешай с отрядом, а я пулемётную заставу на дороге сниму пока. Там их всего пятеро.

— Гляди, Яков, — сказал Кружилин тревожно.

— Ништо. Я выведал, как подобраться к ним. Веди людей смело.

И с десятью партизанами ускакал в темноту.

Всё было пока тихо, фыркали только лошади, стучали копытами по наскоро сооружённому настилу через пропасть, суетились люди. Часть

брошенных отрядом под горой повозок белогвардейцы угнали, часть изрубили на топливо для костров. Теперь партизаны отыскивали уцелевшие телеги и брички, впрягали в них лошадей. Кое-как погрузили раненых, растянувшись почти на полкилометра, двинулись в кромешную темноту.

На душе у Кружилина было тревожно — чем-то кончится их дерзкий план? Ведь они безоружны, беспомощны, стоит самому захудалому одиночному белогвардейцу, блукающему зачем-нибудь по степи, наткнуться на отряд, поскакать в Михайловку, поднять тревогу... В плане Алейникова это не предусмотрено, а ведь может случиться. И тогда...

Кружилин вздрагивал, кожу его обдирал мороз.

Отряд двигался в ночной тиши уже больше часа голой степью, потом начались перелески. Кружилин чуть успокоился — всё-таки лес. Скоро и Журавлиные болота, а от Яшки ни слуху ни духу. Что там у него? Удалось ли ему снять пулемётную заставу?

Алейников появился из темноты неожиданно и бесшумно, будто лошадь его не ступала по земле, а летела по воздуху.

— Пор-рядок! — воскликнул он, и Кружилин облегчённо вздохнул. — Сонные тетери! Вымокли

только все мы, вплавь пришлось к ним подбираться.
Во что бы переодеться мне?

— А пулемёт ихний?

— Порядок, говорю. И коробок с лентами —
десятка полтора!

Это было уже почти спасение. Теперь если даже и кинется за ними весь белогвардейский полк, на узкой дороге его можно держать долго, достаточно для того, чтобы отряд мог смять находившийся на заимке при Зубове эскадрон и пехотинцев и скрыться в таёжных дебрях, начинавшихся сразу за Журавлиными болотами.

* * *

«Батьку повесили... Батьку!» — весь прошедший день звенело в голове у Фёдора. Он ушёл в палатку, лёг там и лежал до вечера не шевелясь. Анна трижды — утром, в обед и вечером — приносила ему жиденскую мучную похлёбку, но он отталкивал миску, бросал сквозь зубы:

— Уйди.

Выбираясь по каменному карнизу из Зелёной котловины, Фёдор оступился, чуть не загремел в пропасть вместе с лошадью. Анна, шедшая сзади, пронзительно вскрикнула, а Фёдор спокойно сказал:

— Тихо. Рано мне ещё погибать.

А про себя стал думать: «Да, рано... Только бы до Огнёвской заимки добраться! Ванька, может, там. Раз Кафтанов там, и Ванька должен при нём быть... Доберусь я до тебя, сволочуга!»

Потом эта мысль о брате Иване уже не покидала его.

Когда подошли к заимке, близился рассвет. При ясной погоде небо на востоке уже засинело бы, а сейчас, заложённое тучами, оно было черно и непроницаемо. Но ночь ли стояла, день ли светил бы — Фёдору это неважно было. Заимка — вот она, блестит недалеко за деревьями тусклый ночник в каком-то окошке. Уже вынули партизаны шашки, и Фёдор выдернул свою из ножен, расстегнул кобуру нагана. А Яков Алейников всё говорит про какие-то сараи, где спят белогвардейцы, про какого-то Зубова, которого ни в коем случае нельзя упустить. Анна на своей низкорослой гнедой лошадёнке, как всегда, рядом с ним, шепчет, как всегда, вполголоса: «Федя, берегись, ради бога, осторожней...» А для чего ему остерегаться, на черта этот полковник Зубов?! Только бы ему с братцем Ванькой встретиться! Где Кружилин или Назаров, чего не подадут команды?

Кружилина или Назарова он так и не увидел, никакой команды не услышал. Неожиданно сбоку забил, распарывая тишину, пулемёт, ухнул гранатный разрыв. Ночник в кафтановском доме

мигнул и разгорелся ещё ярче. «Вперё-од!» — заорал визгливо Яшка, и Фёдор закричал таким же голосом своему эскадрону, бросая к заимке лошадь:

— За мно-ой!

А потом всё слилось в тяжёлый гул, свистящий огненный вихрь. Яростно, как порох, горела какая-то постройка. Фёдор метался по освещённому двору заимки, рубил словно специально наскაკивающих на него полусонных, полураздетых белогвардейцев. Мелькали перед ним знакомые, искажённые боем лица Данилы Кошкина, Кирьяна Инютина и других бойцов его эскадрона, скакала следом в неизменной своей кожанке, с наганом в руке Анна. Она всегда, в любом бою, в любой рубке, находилась рядом вот так же с наганом в руке и раза два, кажется, спасала его от верной смерти.

Неожиданно Фёдор почувствовал: Анны рядом с ним нету. Он сдержал разгорячённую лошадь, оглянулся. И увидел: в полусотне шагов от него бился застреленный под Анной конь, сама Анна пыталась вынуть из стремени ногу. Данило Кошкин, спешившись, помогал ей, а из-за угла горевшей смоляным факелом конюшни, припав на колено, в Анну и Кошкина торопливо бил из винтовки белогвардеец. «Убьёт ведь, убьёт!» Фёдор выхватил из кобуры наган. Но выстрелить не успел — из-за конюшни, из клубов огня и дыма, вылетел

Алейников, в отсветах пламени бесшумно, как всплеск молнии, блеснула его шашка, белогвардеец выронил винтовку, клюнул головой в землю и неспешно вытянулся, будто укладывался спать. А Яков дико закричал:

— Фёдор, за окнами глядеть! В доме Зубов с Кафтановым, не упустить!

И, спрыгнув с лошади, заскочил на крыльцо, ударил плечом в запертую дверь. Фёдор поднял лошадь на дыбы, через мгновение оказался на другой стороне дома. Окна были тёмными, лишь одно, под которым стояла врытая в землю скамейка, ярко горело, по белой занавеске метались какие-то тени. Фёдору показалось вдруг, что одна из фигур похожа на Ванькину. Только показалось, но этого было достаточно. Не думая об опасности, он прыгнул с коня на эту скамейку, плечом саданул окно, рванул и отбросил лёгкую занавеску...

И, стоя на подоконнике, слыша, как вокруг него со звоном осыпаются стёкла, зарычал торжествующе: перед ним, приклеившись спиной к стене, стоял с маузером в руке Кафтанов, в углу — какой-то рослый худой человек с обнажённой шашкой, в наспех накинутом полковничьем кителе, к нему прижимался насмерть перепуганный мальчонка лет десяти-двенадцати, тоже в офицерской форме, сшитой по росту, только без погон, а у дверей — он, брат Ванька! Ванька тоже

был вооружён, опустив руку с наганом, удивлённо, ошалело глядел на брата, моргал большими круглыми глазами...

* * *

Почти весь сентябрь 1919 года в верховьях Громотухи барабанили дожди с ветром; рано пожелтевшие деревья обхлестало, а потом погода установилась, засветило холодное солнце, пронизывая обредевшие леса, с трудом обсушивая мокрую землю.

Шла в отлёт птица. С утра до вечера небо со свистом чертили тонкие утиные ниточки, бесшумно и лениво махали крыльями стаи отяжелевших за лето гусей, и уже совсем грузно проплывали журавлиные косяки, тоскливо оглашая тайгу медноголосым криком.

Иван сидел на каком-то сундуке в душной маленькой комнатушке, слушал, опустив голову, эти крики, проникающие сюда даже сквозь двойные рамы, молчал. Молчала и Анна, сжавшись, как зверёк, на кровати, подобрав под себя ноги. За окном комнатушки маячил караульный, то ходил взад и вперёд, то садился на завалинку, курил, часто сплёвывая на землю.

В бледном, болезненном лице Анны не было ничего живого, вместо серых глаз — холодные

клочья перегоревшего пепла. Только чёрные зрачки ещё не перегорели, ещё пылали и больно жгли Ивана.

— Не гляди так, Анна, — попросил Иван, ещё ниже опуская голову.

— А как на тебя глядеть? — иссохшие её губы шевельнулись брезгливо. Иван замотал головой, застонал:

— Размолола ты мою жизнь, проклятая! Раздавила, как помидор сапогом!

— Гляди — зайдёшься и не отойдёшь.

— Обвенчаемся, Ань! — умоляюще крикнул Иван, вставая. — Жить будем — ветру не дам пахнуть на тебя.

— Нет уж... Лучше в петлю пускай меня, как отца твоего.

— Анна!

— А ты посильнее попроси любви-то моей, — насмешливо сказала она. — Кто знает, может, выпросишь!

Такой разговор происходил уже не раз. Иван вышел из комнаты на улицу, сел у стены на жиденьком солнечном припёке. Крики улетающих журавлей были здесь явственнее, громче и оттого казались ещё тоскливее.

Деревушка Зятькова Балка, в которой вот уже две недели стоял отряд Кафтанова, укрывшись здесь от партизан, лежала на косогоре, редкие,

беспорядочно разбросанные домишки стояли криво, и было странно, как они держатся на крутом уклоне. Казалось: дунет пошибче ветер — и все домишки, будто пустые коробки, скатятся в эту самую Зятькову Балку — глубокий глинистый овраг, надвое разрезающий тайгу.

На косогоре, на самом гребне, показались четверо всадников. Это были сам Кафтанов, его бельмастый сын Зиновий, бывший михайловский староста Демьян Инютин и тот самый таинственный Косоротов, о котором рассказывали страшные легенды.

Вчера вечером какой-то мужичонка прискакал из соседней деревни Парфёново, сообщил, что туда нахлынули партизаны.

— Обкладывают опять, сволочи! — выругался Кафтанов и, никому не доверяя, самолично решил разведать ночью, сколько в Парфёнове партизан, взяв с собой самых верных людей.

Иван тоже был в числе верных, но он оставил его при Анне, захваченной десять дней назад в плен бывшим тюремным надзирателем Косоротовым.

— Сторожем и женихом оставляю, — усмехнулся Кафтанов. — А к утру чтобы мужем стал.

Подскакав к дому, возле которого сидел Иван, Кафтанов глянул на него красными от бессонницы глазами:

— Ну? Зятем, что ли, назвать можно?

— Не соглашается она.

— Я ж позволил — силком бери её, сучку...

— Не могу я так. Не могу, — мотнул головой

Иван.

— С-сопля! — Свалявшаяся в клочья рыжая борода Кафтанова затряслась. — Ну, не обессудь. Я своё слово выполнил.

Кафтанов, Зиновий и Косоротов ушли в дом, Демьян Инютин ловко перекинул через коня пристёгнутую к левому колену деревяшку, сполз на землю, ковыляя, переваливаясь, как утка, повёл всех лошадей под навес. Проходя обратно, он сказал:

— Сумной ты давно, гляжу. Значит, коловерть в голове зачалась. Куда она тебя доколовертит, а? Вот об чём бы Михаилу Лукичу подумать.

И, подождав чего-то, прибавил:

— Только знай — у меня с Михайлой Косоротовым ты с глазу не соскочишь.

— Ты-ы! — взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку...

...Коловерть началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним происходило, но происходило, Иван Савельев это чувствовал, давно...

Впервые он сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повёл

расстреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес, Иван для порядка, чтоб услышал Кафтанов, выстрелил вверх, потом сидел на пеньке и долго думал: как же так оказалось, что плюгавенький мужичонка этот в партизанах, брат Фёдор там, у Кружилина Поликарпа, и Анна, и даже сын одноногого михайловского старосты Демьяна Инютина Кирюшка?! Им-то двоим как раз надо быть у Кафтанова, а ему, Ивану, у Кружилина. А всё перепуталось, всё вышло наоборот... «И за что воюю-то здесь? Богачество Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того, если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхи после к нему идти? Анна, что бы ни случилось, всё равно с Федькой останется. Да и, по всему видать, не отстоять теперь своё богачество ни Кафтанову, ни кому другому, расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех, гибель так и так мне. А за что?»

Вскоре прибыл для разгрома Кружилина зубовский полк, начались жестокие бои, бесконечные погони за ускользающими партизанами. Для дум у Ивана не оставалось как-то времени. А потом... потом и случилось то, от чего Иван до сих пор не может опомниться, — казнь отца и этот неожиданный, страшный налёт на Огнёвскую заимку партизан, непонятно каким образом — по воздуху, что ли?! — выбравшихся из Зелёной котловины...

...Когда забил где-то пулемёт, Иван, спавший на полу рядом с Кафтановым, мигом оказался на ногах, прибавил огня в привёрнутой лампе, хотя, может, её надо было совсем потушить.

— Что? Кто?! — вскричал Кафтанов.

Из соседней комнаты в одних кальсонах выскочил Зубов, тоже закричал:

— Что? Что это такое?!

А там, за окном, уже вразнобой хлопали винтовочные выстрелы, слышались крики и тяжкий, глухой звон лошадиных копыт.

Больше никто ничего не говорил, все трое поняли, что произошло, начали лихорадочно хватать и натягивать одежду. Зубов скрылся в своей комнате, через минуту вытолкнул оттуда заспанного сынишку, выскочил сам в незастёгнутом ещё кителе.

— Как это случилось? — закричал он, будто кто-то мог, но не хотел ему этого объяснить.

И тут со звоном посыпались стёкла, в чёрном проёме, как в раме, встал, сверкая глазами, брат Фёдор.

Иван давно выдернул наган, но при виде брата его рука сама собой опустилась. Стоявший у стены Кафтанов, наоборот, быстро вскинул руку, но Зубов судорожно вцепился в неё, закричал:

— С ума сошёл! Не стрелять! Не стрелять! — и повернулся к Фёдору, спрыгнувшему уже в

комнату: — Я сдаюсь. А это единственный сын мой, Пётр. — И он чуть толкнул мальчишку к Фёдору. — Надеюсь, ребёнка вы пощадите.

В эту секунду в чёрном проёме окна возникла новая фигура. «Анна!» — обожгло Ивана.

Спрыгнуть на пол Анна не успела. Хрипло прокричал рядом Кафтанов и не целясь выстрелил в дочь. Она бесшумно осела, повалилась на бок.

— Анна!

Это не он, Иван, закричал, и вообще никто не закричал. Это просто в голове у Ивана что-то загудело, нарастая, лопнуло, стало осыпаться со звоном, как только что осыпались оконные стёкла.

И слух у Ивана пропал, сознание помутилось. Точно в каком-то полусне, не понимая уже, что происходит, он видел, как сбоку распахнулась дверь, влетел, сверкая глазами, невысокий парень в сбитой на затылок кожаной фуражке — Яков Алейников.

— А-а, полковник Зубов! — закричал он, наверное, громко, однако до Ивана донеслось это еле-еле, взмахнул шашкой.

Но Зубов отскочил, отбив одновременно удар. Шашка из рук Алейникова вылетела, дугой сверкнув в воздухе. Алейников прыгнул за противоположный конец стола, вырывая из кобуры наган. Но вытащить не успел, Зубов перегнулся через стол и достал Алейникова шашкой.

Схватившись за лицо, Алейников упал навзничь.

Пока это всё происходило, кто-то дёрнул Ивана, прохрипел в ухо: «За мной, живо!» Иван видел, что Кафтанов скользнул за дверь, но не побежал за ним. Почему не побежал — неизвестно, хотя Фёдор, кажется, стрелял в него. Ну да, стрелял, раз — в него, раз — в метавшегося по комнате Зубова. Пули липли в стену, совсем рядом, но Иван не шелохнулся. Наконец Фёдор попал, кажется, в Зубова, тот выгнулся горбом, оседая. Но не упал, а стал подниматься. Фёдор хотел выстрелить ещё раз, но боёк нагана только щёлкнул — кончился барабан. Тогда Фёдор прыгнул зверем к раненому Зубову, ударил шашкой. Тот рухнул рядом с Алейниковым. Пронзительно закричал прижавшийся в углу сынишка Зубова. Прокричал и замолк.

— Что ж не стреляешь, иуда? Стреляй...

Это, тяжело дыша, говорил Фёдор. К своему удивлению, Иван обнаружил, что целится прямо во взмокший лоб брата.

— Брат всё же ты мне, не буду стрелять, — сказал Иван.

Иван говорил правду, он не выстрелил бы, кинься даже на него Фёдор со своей страшной шашкой. «Анна, Анна, Анна!» — будто стучали ему молотком по голове. И сквозь больной звон этих ударов пробивалась ясная, отчётливая мысль: коли

нет больше Анны — зачем жить? Пускай зарубит. Это лучше даже, что не кто-нибудь, а Фёдор. Взмахнёт шашкой — и всё кончится. Всё, всё... И — хорошо... Но тем не менее целился зачем-то сам в брата. Зачем?

Фёдор меж тем, скользя спиной по стене, подвигался тихонько к тому углу, где стоял, сжавшись, сынишка Зубова. «Да, вот зачем... — вспомнил Иван. — Зарубит ведь мальчонку...» И крикнул:

— Мальчишку не трогай! Не виноват ни в чём ребёнок.

— А-а, гад! — прохрипел Фёдор. — Сам гад и об гадючьих выползках заботишься?! Ты отца бы родного лучше пожалел! Вспомнил бы, как они его...

И рванулся к мальчишке. Иван бросился наперерез и в ту секунду, когда Фёдор со свистом опустил шашку, с разбегу толкнул Фёдора в плечо. От толчка Фёдор не удержался, упал, покатился по полу. Пронзительно, последним криком закричал мальчишка, прижимая к лицу ладони, сквозь которые текла кровь, корчился рядом с неподвижным отцом. И только тут Иван выстрелил, но не в Фёдора, а в висевшую на стене лампу. Однако темноты не наступило, потому что в проём окна, загибаясь с крыши, хлестало пламя. Запнувшись о застонавшего вдруг Алейникова

(«Жив, оказывается», — отметил про себя Иван), он схватил мальчишку и выбежал из дома.

Во дворе было пусто и светло от полыхавшей конюшни. Пламя бешено плясало в чёрном небе, широкие лоскуты его отрывались и таяли, словно улетая в тёмную пучину. Вокруг заимки, где-то уже далеко в лесу, трещали выстрелы.

Пробегая по двору, Иван всё дожидался Фёдоровой пули в спину, однако погони за ним не было. На берегу озера стояло несколько лодок с вёслами, в одну из них Иван кинул Петьку Зубова. Оттолкнув лодку от берега, Иван сунул в карман оружие и, разбивая вёслами плясавшие от пожарища на чёрной масляной воде огненные блики, торопливо погрёб к другому берегу, в темноту...

— Ты-ы! — взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку.

— Дурак, — спокойно ответил Инютин и ушёл, глубоко протыкая землю деревянной ногой.

Иван снова сел. Дурак, это верно. Зачем той ночью не дал себя зарубить Фёдору, не сдался, в крайнем случае, в плен, зачем кинулся бежать, да ещё не один, а с этим мальчишкой, сыном человека, приказавшего повесить его отца? На другом конце озера тоже стояла лодка. Иван сразу понял — это Кафтанов на ней переплыл. И точно, Кафтанов

вышел из зарослей, обрадованно сказал:

— Ванька? Молодцом! Эко обмарались мы! Как же они, сволочуги, из каменной дыры выползли?

У Петьки Зубова была немного рассечена щека, он скулил, как щенок, Кафтанов разорвал свою рубаху, перевязал мальчишке лицо, сказал задумчиво:

— Совсем, голубок, сиротой остался. С трёх годков, рассказывал полковник, без матери рос. Куда же его теперь? К Лушке, что ли, отправить? Пущай с Макашкой моим вместе живут. Друзьями, может, будут.

Младшего своего сына, шестилетнего Макара, Кафтанов укрывал где-то по заимкам в таёжной глухомани, поручив его заботам разбитной и развратной михайловской бабёнки Лукерьи Кашкаровой.

— Верно, отправлю-ка его к Лушке, — повторил Кафтанов. — А сейчас, Ваньша, айда в лес поглубже от греха. А то светает уж. Неужель весь полк и наших людей в Михайловке партизаны похлестали? Чем и как? Не должно быть. А всё же нам надо обнюхаться. Бережёного бог бережёт.

— Анну-то, Анну зачем ты? — невольно вырвалось у Ивана.

— Ну! — сухо прикрикнул Кафтанов. — Переживёшь. Её, сучку, не пулей бы, на куски бы

раздёргать. — И пошёл от берега.

Проливался сверху запоздалый рассвет. Иван глядел на маячившую впереди сутулую спину Кафтанова, и ему хотелось выдернуть из кармана наган и раз за разом высадить весь барабан в это широкое, ненавистное тело. Непонятно сейчас Ивану, почему не осмелился, такой был удобный момент. «Да и вообще, мало ли их было, таких моментов? — усмехнулся он кисло. — Дурак потому что, как сказал Инютин».

Тем утром, когда совсем рассвело, они вышли на таёжную дорогу, свежеистоптанную копытами, сапогами, изрезанную колёсами, и поняли, что здесь на восток, в заогнёвские леса, прошёл отряд Кружилина.

Партизаны вернулись недели через две, отдохнувшие, хорошо вооружённые.

Бывший зубовский полк, оставшийся без командира, к тому времени был отозван куда-то. Роли теперь переменились, теперь партизаны по пятам преследовали отряд Кафтанова, загоняя его всё дальше в верховья Громотухи, пока он не оказался в этой самой Зятьковой Балке.

Иван всё так же был при Кафтанове ординарцем и телохранителем. Он ещё более похудел, глаза ввалились, стал угрюм, молчалив.

— Да не сохни ты! — сказал ему Кафтанов уже тут, в Зятьковой Балке. — Живучей кошки она,

Анна твоя, оказалась.

— Как? — не понял Иван.

— А так, живая... Надо было мне ещё разок-другой вклепить ей. А раз живая — я от своего слова не отказываюсь. Поймаем её.

— Как? — ещё раз переспросил Иван.

— Мишка вон Косоротов поймает. Я ему приказ дал. Он уехал уж. Михаил Косоротов, когда отозвали зубовский полк, остался в отряде Кафтанова.

— Куда уехал? — всё ещё никак не мог понять Иван.

— За Анной. Имеем сведения — очухалась она от моей пули, ездит сейчас по деревням, пимы да рукавицы для партизан собирает. Косоротов и прижучит её где-нито.

И Косоротов «прижучил». Он вернулся через день после этого разговора, сбросил с седла связанную Анну, выдернул тряпку из её рта.

— Получай, — сказал он Кафтанову.

— Анна? Анна! — вскричал Иван, подбегая.

— А Кирюхи моего не было с ней? — спросил Демьян Инютин, — Его бы, свинёнка, достать ишо мне. — И, потоптав землю деревяшкой, добавил непонятно: — А на этой я бы не Ивана... я бы сам на ней женился.

Анна, со спутанными волосами, посиневшая, полузадохнувшаяся, лежала в пыли. Иван хотел

развязать её, помочь встать. По она сама поднялась на колени, вскинула голову, поглядела на Ивана таким взглядом, что он попятился. И вот...

* * *

Бой в Зятьковой Балке Кафтанов принимать не стал, увёл своих людей за два десятка вёрст, в деревню Лунёво. Ужиная в просторной избе, велел Демьяну Инютину привести к себе дочь из амбара, где её держали теперь под замком.

— Значит, не хочешь за Ивана выйти? В последний раз задаю вопрос.

— Не надо, — сказал сидевший на лавке у окна Иван, болезненно скривив губы. — Не выпросишь ведь действительно. Отпусти её, Михаил Лукич. Пускай...

— Что? Значит, отказываешься от неё?

— Я помер бы за неё. Да что... Она и крошки не отломит.

— Какой такой крошки ещё? — рассердился Кафтанов.

— Я вообще. Не выпросишь, говорю. Отпусти её. А я вдвойне тебе отслужу.

Кафтанов бросил деревянную ложку, упёр взгляд в Ивана, долго своим взглядом давил его. Потом стал глядеть на дочь. Анна стояла у дверей, прислонившись к косяку. Она была в серой вязаной

кофточке и чёрной измятой юбке, в мягких сапогах, голенища плотно облегли полные икры. На плечи была накинута кожанка, на голове ситцевый платочек, из-под которого вываливались светлые пряди волос.

Высокая и стройная, она хороша была и в этом грубом наряде.

— Ничего, гладкая кобыла выросла, — усмехнулся Кафтанов.

Анна ещё ни звука не промолвила и на эти слова никак не отозвалась.

— Ну а ежели отпущу, к партизанам опять уйдёшь? — спросил отец.

— К ним, — подтвердила Анна, разжав наконец губы.

Кафтанов задышал тяжело, на потных висках вздулись вены.

— Я, Анна, всласть пожил, ты знаешь, — заговорил он неожиданно тихо. — И водку пил, и баб любил, и властью над людишками вволю попользовался. Воюю вот теперь, просто сказать, чтобы ещё маленько такой жизнью пожить. Ну а ты за что? Цель-то в чём? Как ты там оказалась, у партизанишек этих? Из-за Федьки, что ли?

— И из-за него тоже.

— А ещё из-за чего?

— Не знаю. Это не объяснить так легко, в двух словах. — Длинные брови её нахмурились,

потом, дрогнув, развернулись, как крылья, плотно обтянутая шерстяной кофточкой грудь начала быстро, толчками вздыматься. — Ты жил... Ты мать мою этой своей жизнью в петлю загнал! Чем хвалишься? Как скотина ты жил. А есть другая жизнь — человечесья! Вот... потому я там, в партизанах, наверное, что... что нагляделась на твою жизнь. Видела я, как ты на Огнёвской заимке развратничал. А я хочу по-человечески жить. И ради этого такая... такая кроворубка идёт. Люди хотят на земле человеческую жизнь установить. И установят...

— Ой ли? Гляди, не ошибись.

— Установят! А вас выметут с земли, как сор из избы, чтоб не воняли. Вон уж куда загнали вас...

— А и установят — тебя-то пустят ли в эту жизнь! Рано или поздно припомнят, чья ты дочь.

— Припомнят... всегда будут помнить, не чья я дочь, а каков я человек, достойна ли этой жизни. И пустят. А ты, Иван, — повернулась она вдруг к окошку, где тот сжигал самокрутку за самокруткой, — ты подумал бы об этом. Они отца твоего повесили. А недавно мать твоя... не перенесла такого горя она...

— Мать? Мать... — Иван вскочил и замер, не чувствуя, что окурок жжёт ему пальцы.

— Замолчи-и! — Кафтанов трахнул о край стола тяжёлой глиняной миской — будто звонко

лопнуло дерево на морозе, под ноги Анны полетели черепки. Подскочил к ней, протянул к её горлу волосатые руки.

— Михаил Лукич! — закричал Иван, звякнула выдернутая им шашка.

— Ты... что... это?! — отдельно, в три приёма, выдавил Кафтанов.

— Да ведь дочь это твоя. Отпусти её. Пусть идёт куда хочет, — в третий раз сказал Иван, вытер взмокший лоб, бросил в угол шашку.

Кафтанов, грузно ступая, вернулся к столу, сел.

— Ну что ж, пускай идёт... Пускай приведёт сюда партизан.

— Мы снимемся отсюда, дальше уйдём. Кто нам мешает?

— Тоже верно рассудил... — Кафтанов говорил, а глаза его с толстыми кровяными прожилками ползали по дочери. — С Федькой-то живёшь, что ли? — спросил бесстыдно.

— По своей мерке всё меряешь. — Анна запахнула на груди кожанку. — Я не скотина какая-нибудь, как... чтоб без свадьбы.

— Как я? Ага. Было уже указано. А свадьба когда?

— А ты не беспокойся, мы тебя позовём, — насмешливо сказала Анна.

Кафтанов держался толстой, в жёлтых волосах

рукой за край стола, будто собираясь отломить кусок тяжёлой, залоснившейся до твёрдости камня доски и запустить обломком в дочь.

— Ладно... Эй, кто там, увести пока! А ты горяч, сразу за шашку, — сказал он Ивану, когда Анну увели.

— Ты ж хотел её... Мне почудилось...

— Тебе не всё равно, коль она...

— Не всё равно, — сказал Иван, не поднимая головы.

— Слюнтяй ты в таком разе, — усмехнулся Кафтанов. — Ну, дело твоё. А мне что — отпущу. С Федькой пушай живёт, с другим ли каким жеребцом...

* * *

В течение ночи Иван не сомкнул глаз. «И мать... Тоже, считай, повесили её», — думал он, лёжа неподвижно на конской вонючей попоне. Сердце давило, неприятная боль растекалась по всему телу.

В окна заструился серый утренний сумрак.

Скрипнула кровать, на которой спал Кафтанов.

— Спишь, Иван? — тихо проговорил он. — Пойду посты проверю.

И начал одеваться, стараясь не шуметь. Потом

взял в руки сапоги, зашлёпал к двери босыми ногами, вышел.

Ничего необычного в том, что Кафтанов собирается проверять ночные посты вокруг деревни, не было — в последнее время, где бы ни стояли, он всегда проверял их или сам, или поручал это сыну Зиновию. Но Ивана с новой силой окатили испуг и тревога.

Эта непонятная и безотчётная тревога возникла у него ещё вечером, в тот момент, когда Кафтанов нехорошо ошупывал глазами дочь. И потом Кафтанов вёл себя странно, не так, как обычно. Прежде чем лечь, он долго ходил по избе, о чём-то раздумывая. Временами широкий ноздрястый нос его раздувался, подрагивали заросшие волосами губы, глаза сатанели. Но он так ничего и не сказал, завалился на кровать и сразу захрапел.

А теперь вот этот тихий голос, осторожные сборы, чтобы не разбудить его...

Иван вскочил, побежал к окну.

По всей деревне не было ни огонька. Виднелся в сером ползучем мраке угол амбара, в котором держали Анну. Возле амбара стоял запряжённый ходок, маячили двое людей. Потом эти двое вывели из амбара Анну, усадили в ходок. Всё это Иван не увидел даже, а догадался, сердце его заколотилось. «Куда они её? Отпускают, что

ли? А говорил — посты...»

Иван всё глядел в окно, напрягая зрение. Один из людей (по фигуре — сам Кафтанов) тоже сел в ходок, тронул коня. Другой захромал к избе.

Иван кинулся к одежде, натянул брюки, начал торопливо вертеть портянки. Накинув суконную тужурку, метнулся к дверям.

— Куда? — раздался голос Демьяна Инютина.

— Пусти! — Иван хотел оттолкнуть одноногого, но тот ловко выставил вперёд, как копьё, свою деревяшку, ткнул в живот. От боли Иван скрючился, осел. А когда опомнился, Инютин стоял над ним с наганом.

— Далеко наострился-то, спрашиваю?

— Куда... куда он Анну повёз?

— Отвезёт, куда надо, скажет отцовское слово и отпустит. И мы сымемся отсюда через час. Ну-ка, руки назад! И ступай. Посидишь до его возврата, а там уж как сам знает. В амбар, говорю, ступай. Да не вздумай чего, а то в момент пригвоздую.

Иван покорно заложил руки за спину, пошёл.

— На смерть... на смерть он её повёз.

— И это его дело, отцовское. Иди, иди!

Они уже были возле амбара. Иван шагнул за его порог. Но когда Инютин стал прикрывать тяжёлые двери, Савельев прыгнул на него сверху кошкой, смял, вырвал наган, со всего размаху саданул в висок. Инютин охнул только, дёрнулся и

затих.

Иван вскочил, постоял в растерянности. «Убил, что ли? Неужели убил?!»

Бывший Михайловский староста не шевелился, не дышал. Тогда Иван перевалил труп в амбар, прикрыл двери, не замкнув даже болтавшийся на железных скобах замок, побежал к своему коню.

Из Лунёва выходило несколько дорог. По какой поехал Кафтанов — неизвестно. Но на каждом выезде стояли секреты.

На первых двух постах Ивану сообщили, что ни Кафтанов, ни кто другой из деревни не выезжал. Лишь на третьем усталый от бессонницы парень сказал:

— Атаман-то? Проезжал куда-то с дочкой. Куда это он повёз её, Ванька?

Не отвечая, Иван поскакал вдоль лесной дороги, тонувшей в грязно-голубом утреннем свете.

Не настигнул бы в это утро Иван Кафтанова, никогда бы не увидел больше Анну и даже никогда не узнал бы, куда девалась она, каким образом исчезла с лица земли, если бы не его жеребец. Вёрст пять или шесть жеребец стлался по пыльной, разъезженной дороге, а потом, несмотря на то что Иван безжалостно хлестал его плетью, начал сбавлять ход и вдруг, вскинув голову, пронзительно заржал. Откуда-то чуть сзади и сбоку тотчас

откликнулась кобылёнка. «Кафтановская!» — мелькнуло у Ивана. И он повернул своего коня. Жеребец, будто понимая, что желания его и хозяина совпали, послушно рванулся назад, сиганул в сторону, через низкорослые кусты, вынес Савельева на полянку, всеми копытами заскользил, останавливаясь, по росной траве.

На краю поляны под развесистыми чёрными соснами стоял запряжённый ходок, немного в стороне пластом лежала на земле Анна, белея оголёнными ногами, а Кафтанов бежал от неё прочь, как-то боком, чуть пригибаясь, брэнча ремёнными пряжками, вырывая на ходу из деревянной кобуры длинноствольный маузер.

Вся эта картина открылась Ивану за одну какую-то секунду, и ещё менее чем за секунду он понял, что здесь произошло. И в то же мгновение голова его вспухла, будто была начинена порохом, сознание застлало чем-то едким и горячим.

В себя он пришёл от слов Кафтанова:

— Молись, Ванька. Что увидел тут — с собой унесёшь. Этого никому не надобно знать на земле...

Перед Иваном начало проступать сквозь светлеющую черноту красное, взмокшее лицо Кафтанова. Он стоял в трёх шагах, левой рукой застёгивая тужурку, а правой выставив на него чёрное, задымлённое дуло маузера.

Когда он, Иван, соскочил с лошади, как оказался напротив Кафтанова — Иван не помнил.

— Ты... ты... Как ты мог? — выдавил он.

— Этого тебе не понять. А ей — известно. Что прискакал сюда — дурак. Жил бы...

Иван отчётливо понимал, что сейчас будет застрелен. В кобуре у него тоже было оружие, но Кафтанов не даст времени его выхватить, не позволит даже шевельнуться. И стоял неподвижно, свесив длинные руки, на одной из которых болталась короткая кавалерийская плеть.

Вот уж дрогнул, качнулся чёрный зрачок кафтановского маузера. «Сейчас, сейчас!» — молнией блеснуло у Ивана в голове. И, ни на что не надеясь, он стремительно взмахнул своей плетью, хлестнул Кафтанова по лицу, кинулся на него. Кафтанов выстрелил — будто кто оглоблей ударил Ивана по плечу. Не понимая, убит он или только ранен, не видя, что Кафтанов закрыл ладонью глаза, Иван опять взмахнул плетью, хлестнул на этот раз по руке с маузером. Оружие выпало. Иван бросился на Кафтанова, вцепился в его колючую, волосатую шею и, упав вместе с ним на землю, стал давить.

— Ванька... Иван! — прохрипел Кафтанов, болтая головой, царапая бородой его лицо.

Кафтанов был сильнее, он упёрся в грудь истекающему кровью Ивану и легко отшвырнул. Но встать сам не успел. Иван схватил валявшийся

на траве маузер, снова кинулся на приподнявшегося Кафтанова, с ходу опрокинул его на спину, изо всех сил вдавил дуло маузера ему в грудь, два раза прижал гашетку...

Выстрелов он не услышал. Он слышал лишь, как всхрапнули лошади, как они шарахнулись на другой конец поляны.

* * *

Солнце давно поднялось, нежарко сияло над лесом. Дул ветерок, тихонько подсушивая росные травы.

Лошади давно успокоились. Они стояли голова к голове, кафтановская кобыла тёрлась щекой о плоскую морду жеребца. Скоро тому надоели, видно, эти ласки, он отошёл и начал щипать траву.

По развесистой сосне над ходком прыгала белка, осыпая вниз жёлтые, отмершие хвоинки.

Кафтанов мирно лежал в траве. Он будто заснул, раскинув в стороны руки. На краю поляны, куда не хватало ещё солнце, всё так же безмолвно, не шевелясь, лежала на спине Анна. Иван сидел подле неё, смотрел куда-то перед собой не мигая, пустыми глазами.

Из плотно закрытых глаз Анны текли и текли не переставая слёзы. Левое плечо Ивана было

окровавлено.

Если бы не эти слёзы да не окровавленное плечо — ничто бы не говорило, что полчаса назад здесь разыгралась человеческая трагедия. Казалось, просто трое путников остановились тут для отдыха, двое уже спят, лёжа на траве, а третий охраняет их покой.

Так прошло ещё с полчаса. И вдруг Анна приподнялась и, страшная, растрёпанная, закричала не своим голосом:

— Зачем помешал?! Он хотел застрелить меня потом... Зачем помешал?! Застрели сам теперь! Застрели меня, застрели меня!!

И упала, покатилась по траве, завывала по-звериному, колотясь растрёпанной головой об землю. Иван её не успокаивал, сидел всё так же неподвижно. Только когда она, обессиленная, затихла, он сказал негромко:

— А всё равно, Анна, жить надо. Об этом... никто никогда не узнает, Анна. А жить надо...

* * *

Вечером того же дня в Зятькову Балку, занятую партизанами, въехали дрожки. Их окружили вооружённые люди, кто-то крикнул:

— Анна! Смотрите-ка, Анна ведь это пропавшая наша! Фёдор, Анна твоя объявилась!

Из избы, напротив которой остановились дрожки, вышли Кружилин, Алейников и Панкрат Назаров.

— Что здесь такое? Откуда ты, Анна? — спросил Кружилин, подходя. И, узнав Ивана, собрал складки на лбу. — Савельев?!

— Я...

— А-а, сам явился, бандюга кафтановская! — закричал Фёдор, протискиваясь через толпу.

Иван здоровой рукой сбросил зачем-то с дрожек на землю труп Кафтанова и сказал:

— Вот вам наш атаман... мёртвый только. Вот сам я, делайте что хотите. — И сел на траву рядом с телом Кафтанова. — Пулю — так пулю в лоб. Только скорее давайте.

— Это у нас не задержится, — дёрнул свежим ещё рубцом на щеке Яков Алейников. — Ну-ка, пойдём в избу. Разберёмся — да к стеночке.

Иван встал и пошёл, горбаться. Анна, отрешённая и безучастная ко всему до этого, встрепенулась, оттолкнула подошедшего было к ней Фёдора.

— Не надо! Не надо! Вы и вправду разберитесь! Не надо... — закричала она истошно, чёрной птицей подлетая сбоку то к Кружилину, то к Алейникову, то к Назарову, которые уводили Ивана в избу.

Часть первая БРАТЬЯ

Глянув на скрипучие жестяные ходики, Димка сорвался с кровати: стрелки показывали без десяти минут семь.

Село купалось в тумане.

Над сырыми крышами ближайших домов неясно маячили верхушки деревьев. А дальше всё тонуло как в молоке, не было даже видно пожарной каланчи, что стояла на взгорке в конце улицы.

Димка, в трусах и майке, стоял, поёживаясь, в огороде, смотрел через скользкий, почерневший плетень то направо — в усадьбу Инютиных, то налево — во двор Кашкарихи. Однако ни Кольки Инютина, ни кашкарихинского Витьки не было видно. «Дрыхнут, дьяволы, — зевнул Димка. — Нарыбалили сѣдни...» И пошёл умываться к Громотушке.

Щедро вымахавшие кукурузные стебли сыпали на плечи росой, как угольками, мокрая картофельная ботва обжигала ноги. Они занемели, покрылись жѣсткими пупырышками — точь-в-точь как у огурцов.

Подбежав к речушке, Димка сел на кладку и спустил ноги в тёплую воду, на песчаное дно. Тотчас мелкие пескаришки начали щекотать пальцы, тыкаться в икры.

— От вы... — пошевелил пальцами Димка.

Пескаришки брызнули веером прочь, остановились в полуметре от Димкиных ног, подумали, пошептались вроде и осторожно, но все враз двинулись обратно.

Удивительная она, эта речка Громотушка. Светлая, как стёклышко, неширокая, в иных местах всего до полметра, с неглубокими, под навесом перепутанных ветвей омутками, эта речушка, почти ручей, берёт начало где-то далеко за Шантарой, в Алтайских горах, виляя, течёт через всю степь, до самого села. Степь голая, ни одного кустика, только вздымаются на ней местами лысые унылые холмы, а берега Громотушки, каждый метров на сорок в степь, буйно поросли всяким разнотравьем и кустарником. Есть и осина, и берёза, и калина, много черёмухи, несметное количество смородинника. Но больше всего развесистых плакучих ив, которые в Шантаре называют вётлами. И всё перевито хмелем, ползучей ежевикой, всякой повителью.

Заросли эти называют Громотушкины кусты. И хоть заросли неширокие, повернись в любую сторону — и сразу выйдешь на чистое место, на простор, в иных местах такая глухомань и жуть, что шантарских баб-ягодниц берёт оторопь. Тогда они, рассыпая из ведёрок ягоды, оставляя на цепких ветках лоскутья одежды, как ошалелые

выскакивают в степь и жадно глотают там горьковатый полынный воздух, прижав ладонями груди.

Говорят, немало человеческих тайн хранят Громотушкины кусты. Ненароком, может, и приходят на ум иной ягоднице, забравшейся в самую чащобу, эти тайны. А может, чудится им вдруг останавливающий кровь, зловещий крик лохматого лешего, испокон веков живущего, по преданию, где-то возле самого большого на Громотушке омута, отчего он прозывается Лешачиным. Находились в Шантаре люди, которые утверждали, что не только слышали этот страшный крик, но и видели, как по утрам и на закате вспучивается страшный омут, кто-то чёрный и огромный ворочается в густой, застоявшейся воде, разгоняя во все стороны тяжёлые волны.

Возле деревни Громотушкины кусты редуют. Осины да берёзки остаются позади, скоро покидает Громотушку и калинник. А речка всё бежит и бежит вперёд, через деревенские огороды, через неширокие улицы. Теперь её сопровождают только вётлы, они по-прежнему низко, до самой земли, кланяются своей благодетельнице и повелительнице.

За деревней Громотушка выбегает на низкую луговину — здесь её встречают непроходимые заросли осоки и камышей — и неслышно вливается

в широкую, многоводную Громотуху.

В Громотухе полно всякой рыбы, а в Громотушке — только эти пескаррики да в верховьях, по омуткам, хариусы. Могучая Громотуха зимой намертво замерзает — в иные годы лёд бывает метра в полтора толщиной, — а Громотушка никогда ещё не покрывалась хотя бы сантиметровой ледяной корочкой.

Не могут завалить её никакие сугробы — снег тает в неглубоких громотушкиных водах, как в кипятке, не может сковать её мороз, всю зиму Громотушка парит, парит, белые клубы плавают над Громотушкиными кустами, как над жарко натопленной баней, а сами деревья стоят отяжелевшие, в мохнатых, обильных куржаках. Тронь любую ветку — она с шорохом осыплется заледенелыми иголками, точно разденется наголо, но за три-четыре часа снова закуржавеет, размохнатится пуще прежнего.

Ничего не могут поделывать с Громотушкой даже самые лютые холода, только гуще, тяжелее туман над ручьём, только обильнее куржак на деревьях — и всё.

Димка поплескал в конопатое лицо, опять поглядел через плетень налево, потом направо. «Ну, дрыхнут...»

В это время в доме Лукерьи Кашкаровой скрипнула дверь, появилась сама Кашкариха, как

звали её все соседи, торопливо побежала в стайку.

Над Звенигорой, видимо, показался краешек солнца, потому что туман над деревней зарозовел, заискрился и сквозь него начали проглядывать очертания пожарной каланчи. И сразу же стало видно, как покрасневшие туманные лоскутья ползают между тополиными ветками, облизывая каждый сучок.

В Кашкарихиной стайке ошалело закудахтали куры. Потом оттуда вышла старуха. В одной руке у неё был кухонный ножик, в другой — только что зарубленная курица.

— Бабушка Лукерья... — сказал Димка, подходя к плетню. — Чо Витька там? Мы порыбалить сговорились...

— Кака рыбалка, кака рыбалка? — торопливо и как-то испуганно закричала Кашкариха. — Не пойдёт сѣдни Витька! Сорванцы, прости ты, господи...

И скрылась в сенях. Димка слышал, как загремела дверная задвижка. «От пошехонцы, — буркнул он про себя. — Днём на задвижке... Что это они вздумали?»

Сквозь ветви тополей, раздирая космы тумана, прорывались теперь бледно-жёлтые солнечные полосы. Полос было много — и широких, как плахи, и тоненьких, как струнки, меж них по-прежнему крутились, болтались туманные

лохмотья, отчего казалось, что солнечные полосы покачиваются, деловито щупают землю.

Неподалёку на площади, возле большого деревянного дома на каменном фундаменте, в котором помещался райком партии, заговорило радио.

— Внимание, говорит Москва, — звучно сказал диктор на всю деревню. — С добрым утром, товарищи. Сегодня воскресенье, двадцать второе июня...

«А какое в Москве утро? В Москве ещё три часа ночи. Ещё только-только начинает зориться», — подумал Димка.

Из репродуктора полилась песня, хорошая песня, которую Димка всегда любил слушать:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...

Димка слушал и, хотя в далёкой отсюда Москве была ещё ночь, представлял, как солнце раскрашивает кирпичные стены Кремля, который он видел только на картинках да в кино.

В огороде появился старший брат Семён, прищурился на солнце, с хрустом потянулся. Вдруг он опрокинулся, встал на руки и пошёл к Громотушке. Минуя морковную грядку, он легко спружинил на руках, зубами вырвал морковку, ещё

небольшую и бледную, и так, в зубах, донёс её до ручья.

Это был обычный Сёмкин номер. Он занимался в кружке самбистов и умел ещё и не такое. Димка, смертельно завидуя в душе старшему брату, равнодушно отвернулся.

Прежде чем умыться, Семён пополоסקал морковку в ручье и с хрустом откусил сразу половину, подмигнул Димке:

— Ну, как?

— Чего? На руках-то? Подумаешь...

— Ишь ты, пшено... А ну-ка?

— Да запросто! — в запале выкрикнул Димка и попытался встать на руки. «Шмякнусь на спину, как пить дать... — пронеслось у него в голове. — Картошку помну... Мать задаст...»

Едва он так подумал, как откуда-то обрушился на него голос матери:

— Помни, помни картошку мне! Ди-имка!

И плашмя, вытянувшись во весь рост, спиной шлёпнулся в картофельную ботву.

Мать вскрикнула. Димка увидел её испуганные глаза над своим лицом, вскочил.

— Ну?! Ну?.. — дважды дёрнула его за руку мать. И повернулась к Семёну: — Чему ты ребёнка учишь? А ежели он руки али шею ломает?

Увидев, что мать отвернулась, Димка торопливо убежал с огорода.

* * *

За столом у Савельевых всегда царило молчание. Глава семьи Фёдор Силантьевич не терпел за едой разговоров.

Но сегодня священный порядок нарушал самый младший из Савельевых — десятилетний Андрейка. Хлебнув две-три ложки, он шмыгал носом и заводил одно и то же:

— Ма-ам... Я пойду с ними рыбалить?..

Жена Савельева, Анна Михайловна, молчит, будто не слышит умоляющего голоса сына.

— Да пустите вы его, не потеряем, — в конце концов сказал Семён.

Отец бросил ложку, сердито вытер чёрные, мокрые от лапши усы.

— Вот что, Семён, я скажу... В твои, считай, годы я уж эскадронном командовал, белякам головы рубил, — и он показал почему-то за спину, на стенку, где висел увеличенный со старой фотографии портрет его отца, Силантия Савельева. — А ты хоть и два года как тракторист, всё в ребячьих пастухах состоишь.

Семён посмотрел на портрет деда. Отец очень походит на него — такой же большой лоб и сросшиеся брови, такие же усы над крупной нижней губой, нос прямой, с широкими ноздрями,

густая, непокорная, рассыпающаяся во все стороны копна чёрных волос. Только вот подбородок у отца другой, чем у деда. У деда подбородок плоский с бороздкой посередине, у отца — крутой, крепкий, с выметом густой, тоже, наверное, железной крепости щетины.

— Так сейчас же, батя, не война... Вместо эскадрона у меня трактор...

Фёдор отвернулся к окну, закурил и ударил ладонью в створки. Прямо перед окном качалась зелёная и шершавая, в капельках утренней росы, голова собирающегося зацвести подсолнуха. Из центра его шляпки уже пробивались, как огненные струйки, несколько жёлтых лепесточков.

— Значит, на рыбалку?

— Воскресенье же, чего мне? А трактор свой я давно наладил, — проговорил Семён.

— И я давно свой комбайнишко настроил. А товарищам не надо помочь? Или руки отвалятся?

— Пушай сами. Бензином я и без того надышался, хочу речной свежести глотнуть.

— Ма-ам, я пойду с ними рыбалить? — опять затащил Андрейка.

— Ну чисто желна! — в сердцах сказала мать. — Отправляйся...

Андрейка кубарем свалился с табуретки, кинулся из комнаты. За ним — Димка.

— А то приучили их жар-то чужими руками

загребать. — И Семён тоже поднялся.

— Кого их?

— Ну, к примеру, этого главного лодыря Аникушку Елизарова. Или пьяницу Кирьяна Инютина, дружка твоего. Их давно надо из МТС выпереть, а вы всё им помогаете. Ну и везите их на своих плечах. А у меня совести не хватает. — И вышел.

— Дурак ты, дурак! — вслед ему сказал отец.

— Федя! — воскликнула Анна.

— А ты — сыть! Сыть! — зло закричал Фёдор. Походил по комнате, сказал спокойнее: — Не понимает Сёмка чего-то... главного в нашей жизни. Вот что обидно. Ну, пошёл я. Заверни чего в обед пожевать. До вечера с мастерской не выберусь.

Когда Фёдор ушёл, Анна присела у окна, долго глядела на тот же собирающийся расцвести подсолнух. Ей вдруг почему-то показалось, что он никогда не расцветёт, никогда не раскроет жаркое своё лицо навстречу солнцу. И фартуком вытерла бесшумно наплывшие слёзы.

Она-то понимала, почему Фёдор недолюбливает старшего сына. Оба младших, Димка и Андрейка, были в отца — такие же чернявые, большелобые и бровастые. У них уже и поступь проглядывалась отцовская, особенно у Димки — крепкая, уверенная, чуть вразвалку, и

чёрные, глубоко посаженные глаза были искристые до пронзительности, зацепистые, как у самого Фёдора. А старший, Семён, был в неё — русоволосый, белокожий, сероглазый.

— В погребке, что ли, мы его с тобой сделали? Не помнишь? — часто говорил ей Фёдор, когда Сёмка начал подрастать. Говорил — и криво усмехался в чёрный колючий ус. И окатывало её пронизывающим холодком: «Не верит... что его кровь... что он отец!»

Однажды она попыталась пристыдить мужа за его необоснованные подозрения. Фёдор слушал её долго и внимательно. А когда понял, в чём, собственно, пытается убедить его жена, прихлопнул гулко по дощатому столу ладонью.

— Будет! Знаем... Не девицей тебя взял!

— Фёдор!

— Ну! — поднял голос Фёдор, бледнея. — Будет, сказано...

Он облокотился о стол, запустил пальцы обеих рук в густые чёрные волосы и сжал кулаки. Сидел так минут-другую...

— Вот на чём, Анна, покончим... — сказал, поднимая на неё мутный, тяжёлый взгляд. — Тебя, стерву, надо бы наискосок шашкой перерубить. А я тебя всё же люблю. К тому же Димка вон народился. Этот — мой.

— А Сёмка чей? Федя?!

— На том покончим... — не слушая, загремел Фёдор. — Чтоб об этом больше молчок! Ни слова!!
Ежели жить хочешь... в семье...

И жили они — другие и не скажут, что плохо. Фёдор был суров и малоразговорчив, а в праздник или день рождения обязательно какой-нито подарок сделает. По большей части пустяковый — бумажный платок или стеклянную брошку. Да в цене ли дело! И к Сёмке относился вроде ровно, ни в чём не выделяя от остальных детей. Но иногда, как вот сегодня, вроде бы ни из-за чего схватывался со старшим сыном. И ещё ночами иногда находило на него что-то, он чуть не до света лежал холодный, не шевелясь, и Анна видела в полутьме сухой блеск его глаз. Она уже знала, что это значит. Наконец Фёдор молча и грубо тянул её к себе, безжалостно, с остервенением, до синяков и кровоподтёков, мял её небольшие груди, разламывал её плечи. Она чувствовала, что он бессознательно мстит ей за Сёмку, что в нём просыпается что-то звериное.

— Федя! Фёдор!! — в страхе кричала она.

Это его будто отрезвляло, он затихал.

Анна не то чтобы не осуждала Фёдора — она понимала его муки. Сёмка — от него, от Фёдора. Она-то это знает. А его — не убедишь. И он имеет право не поверить...

Да, жили они — другие не скажут, что плохо. Но никто не скажет — любит ли Анна мужа. И сама

она этого теперь не скажет. Когда-то любила ошалело, без памяти, залила когда-то она Фёдора своей любовью, как обвальный июльский ливень заливает землю. Уж текут потоки воды по земле, уже залиты низкие полевые луговины, и лишь торчат над кипящей от тугих дождевых струн водой только высокостебельчатые ромашки да упругий остролистник, уже помутнела от дождя широкая Громотуха — а ливень всё идёт, всё хлещет по земле со звоном...

Но вот чуть потоньше стали дождевые струны и пореже. Вот словно кто махнул поперёк ливня огромным решетом, разрезал струны на капли. И хоть они капают вниз обильно, но это всё-таки уже капли. Сперва скапали вниз те, что покрупнее, потом долго сыпалась мелочь. И наконец дождь совсем прекратился. Лужи по канавам и оврагам скатились всё в ту же ненасытную Громотуху, а в заросших травой низинах вода потихоньку просочилась под землю, оставив на дне масляно поблёскивающий на солнце слой ила. Ил, быстро высохнув, берётся корочкой. Через несколько часов корочка эта трескается, кучерявится, как береста, и рассыпается от жары в пыль. Ветерок раздувает эту пыль, ворошит белые, недавно дрожливо стоявшие под ливнем ромашки, длинные стебли остролистника и прочее разнотравье.

Вспоминался иногда Anne свой последний

разговор с её проклятым отцом. «Чем хвалишься? Как скотина ты жил... — кричала тогда она в его ненавистное бородатое лицо. — А есть другая жизнь — человечья!.. А я хочу по-человечески жить...» — «Тебя-то пустят ли в эту жизнь? — насмешливо спросил отец. — Рано или поздно припомнят, чья ты дочь».

Никто не припомнил, чья она дочь. Но жизни, о которой мечталось, которой хотелось, так и не получилось.

Сперва считала — виноват в этом её отец-изверг. А потом начала подумывать: а только ли он?

* * *

Все улицы Шантары как бы стекают вниз, к Громотухе. Улицы разъезжены в пыль, а кривые переулки, по которым редко-редко проедет телега или грузовик, крепко затравенели, иные так поросли репьем и полынью, что через них едва можно было продраться.

И только главная сельская улица — шоссейка, как её называют, — выложена булыжником, по бокам её выкопаны канавы для стока вод, густо насажены тополя и проложены деревянные тротуары.

По этой-то шоссейке, пустынной в ранний

воскресный час, шагали братья Савельевы и Колька Инютин по прозвищу Карька-Сокол — пятнадцатилетний долговязый подросток, похожий на вопросительный знак.

— А я сейчас через плетень гляжу — сестра тебе выговаривает, — сказал Семён. — Не пустит, думаю, на рыбалку парня.

— Не-е, Верка спросила только, куда мы идём удить. На громотухинскую протоку, говорю. «Мельницу»-то покажешь?

— Покажу, — промолвил Семён, думая о чём-то своём.

Выйдя за околицу, все четверо побрели начавшей рыжеть уже степью, миновали строй деревянных опор высоковольтной линии, крестовины которых были обрызганы птичьим помётом, и зелёной луговиной вышли к неширокой громотухинской протоке.

Здесь их и догнал запыхавшийся Витька Кашкаров, Димкин одногодок.

— Ты? — обрадованно выкрикнул Димка. — А твоя мать сказала, что не пойдёшь!

— Мало ли что... — проговорил Витька, отводя в сторону невесёлые глаза.

В чистом синем небе плавилось солнце, разгоняло остатки утреннего тумана, стекало на землю густыми обжигающими струями. Солнечные блики на воде резали глаза. У берега их почти не

было, метрах в трёх покачивались редковатые золотые блюдца, но чем дальше, тем их становилось всё больше и больше, и где-то посреди протоки они сливались в сплошную сверкающую полосу.

Все торопливо наживили крючки, жадно уставились на поплавки. От напряжения у Андрейки на облупленном носу выступили бисеринки пота. Лишь Витька Кашкаров всё возился с удилицем, привязывая леску. Потом, кажется, забыл о своей удочке, обо всём на свете, — уставившись в одну точку, он глядел куда-то вдаль, за протоку, на остров, где росшие на небольшом обрывчике развесистые вётлы бороздили упругими ветками тугие струи.

— Е-есть! — вдруг заорал Димка и выдернул из воды небольшого подъязка.

У Андрейки от зависти ёкнуло сердце, он начал часто махать удилицем.

— Ты не торопись, Андрюша, — сказал Семён и бросил взгляд на Витьку. Тот, сидя на камне, всё глядел на остров.

Зачерпнув в ведёрко воды, Димка кинул туда подъязка. Рыбина сильно забилась, разбрызгивая воду. Инютин воткнул свою удочку в песок, подошёл, свесил над ведёрком крючковатый нос и ещё больше стал похожим на вопросительный знак.

— Ничего, — снисходительно сказал он. — А

на той неделе я под Звенигору ходил удить. Только забросил — кы-ык он хапнет! Удилище — крик! — напололам. Он и потащил обломок на середину. Я прямо в одежде сиганул за им...

— Не ври, — сказал Семён.

— Что не ври! Окунце был — во! Так и уплыл, гад. Не догнал.

— Откуда ты знаешь, что окунь? — спросил Димка.

— А кто же?! — обиделся Колька. — Он, зебра полосатый. Боле некому.

Андрейкин поплавок вдруг косо скользнул в глубину. От неожиданности Андрейка сперва сел в мокрый песок, потом вскочил, дёрнул удилище. Леска со звоном разрезала воду, булькнув, выскочил поплавок, задрожал на туго натянутой волосяной струне. Андрейка, отступая, тянул удочку к себе, а какая-то сильная рыбина — Андрейка чувствовал, как она билась на крючке, — старалась уйти вглубь. Таловое сухое удилище гнулось, потрескивая, вот уж поплавок опять коснулся воды, пополз обратно в холодную глубину.

— Порвёт! Леску порвёт! — закричал Витька, встрепенувшись, сбрасывая своё забытьё. — Припусти чуть! Ослободи, ослободи ему маленько ходу! — орал он, не замечая, что вместо «ослободи» говорит «ослободи». — Да уйдёт жа, уйдёт жа...

— Не лезь! — тоненько вскрикнул Андрейка.

— Пушай сам. Не мешай ему, Витя, — проговорил Семён, с улыбкой наблюдая за младшим братом.

Димка и Колька, побросав удочки, тоже прыгали вокруг Андрейки, давали советы. Но тот их не слушал. Закусив от волнения язык, он продолжал бороться с рыбиной. Наконец решил, видимо: будь что будет! — и из последних сил дёрнул удилищем. Чулукнул из воды поплавок, и, словно догоняя его, взметнулся вверх, сверкнув на солнце жёлто-зелёной радугой, огромный окунище и, сорвавшись в воздухе с крючка, шлёпнулся на камни почти у самой воды. Андрейка вскрикнул, сорвался с места, грудью упал на свою добычу и облегчённо, радостно засмеялся.

Потом все долго и завистливо рассматривали тупорылого горбача, по очереди держа в руках.

— Положите в ведёрко, уснёт же, — будто бы потеряв всякий интерес к окуню, как можно равнодушнее бросал через плечо Андрейка, наживляя крючок. — Рыбы, что ли, не видали...

— Повезло тебе, братуха, — сказал Семён. — Такие громилы редко на червя берут.

— Подумаешь, громила, — промолвил Колька, опустив окуня в ведёрко. — Вот я прошлогод на Громотушке... Мы с Веркой за смородиной ходили. Ну а леска всегда при мне.

Дай, думаю, с пяток хариусов поймаю, да уху на обед сварганим. Верка — она любит жрать уху-то, — зачем-то пояснил он и продолжал: — А ягоды мы обирали в аккурат недалече от Лешачинового омута.

— Где, где? — оторвался от своего поплавка Семён.

— Что где? — заморгал Колька выгоревшими ресницами. — Возле Лешачинового омута. Там сморо-одины!! Прямо насыпью. Бабы-то ходить туда боятся... А Верка — она жадная на ягоду. «Пойдём, говорит, Колька...» Ну и пошли. Ты что, не веришь?

— Давай ври дальше, — бросил Димка, всё ещё заглядывая в ведёрко, сравнивая своего подъязка с Андрейкиным окунем.

— Сам ты... — повернулся к Димке Николай и обиженно замолчал.

Минут пятнадцать в безмолвии махали удилищами, но клёва больше не было. Андрейка, чтобы сделать подальше заброс, зашёл даже по пояс в воду. Каждый раз, наживляя свежего червя, он долго и старательно плевал на него, полагая, что от этого наживка станет вкуснее. Но всё было бесполезно.

Солнце поднялось уже высоко, зной съедал голубизну неба, оно становилось белёсо-мутным. Жар волнами наплывал сверху, приглушая все

звуки, кроме негромких всплесков волн, облизывающих горячие камни-голыши. На эти мокрые камни почему-то беспрерывно садились бабочки-капустницы и, пошевеливая белыми, в чёрных прожилках, крыльями, сидели до того мгновения, пока не накатывалась очередная волна.

— Так кого же ты поймал в Лешачином омуте? — спросил Семён.

— Никого я не поймал, — буркнул Николай всё ещё сердитым голосом. Но немного погодя начал рассказывать: — Подошёл я, значит, к омуту — жутко. Вдруг, думаю, лешак из кустов высунется? Сердце стукатит, как молоток. Верка где-то рядом по кустам шебаршит. Ну, подошёл я, гляжу...

— Ну?! — в нетерпении выкрикнул Димка. — Лешак?!

Витька, забыв про удочку, тоже повернул голову к Кольке. Но смотрел ему не в лицо, а куда-то мимо, на небольшое пухлое облачко, неожиданно появившееся на горизонте, смотрел пустым и безразличным взглядом. Один Андрейка, стоя в воде, сильно наклонившись вперёд, чуть не опрокидываясь в реку, по-прежнему держал удилище в вытянутой онемевшей руке и не отрывал глаз от поплавок.

— Гляжу — пара здоровенных хариусов ходит поверху. Ну, думаю, счас... Неслышно, чтоб

не спугнуть их, заразов, махнул удилком. Наживка ещё не погрузилась в воду — ка-ак они кинутся на всплеск обои... Какой-то из них, значит, сглотнул крючок и попёр вглубь! И вдруг...

— Лешак в кустах захохотал! — крикнул Димка насмешливо.

— Я вам правду говорю, а вы... — мотнул коротко остриженной головой Николай. — Только хариус сиганул вглубь, ка-ак посреди омута поднимется водяной горб, как забурлит!.. Ну конечно, я испугался! По всему телу сыпучая дрожь окатила. А что?! Сами бы опробовали... А тут ещё посередке омута во-от такой раздвоенный рыбий хвостище выметнулся. — И Колька чуть не во всю ширь раздвинул руки, показывая величину хвоста. — Да как хлестанёт по воде — ажно брызги ливнем меня обсыпали. И тут же с такой силищей рвануло леску, что она только тренькнула...

— Оборвалась! — взвизгнул Андрейка, вышедший на берег, чтоб насадить на крючок нового червя. — А кто же это был, Коля? Щука?

— Не знаю, — вздохнул Колька.

— Щука, щука! — утвердительно проговорил Андрейка. — Батя как-то рассказывал, что в больших омурах на Громотушке живут и щуки.

— Может, и щука.

— Акула, наверное, — сказал, посмеиваясь, Димка. — Такие хвосты только у акул бывают.

— Разве ты поверишь! — обидчиво отвернулся Инютин.

В некотором смысле этот Колька был человеком необыкновенным. С ним всегда случались какие-нибудь приключения. То чья-нибудь собака оборвёт ему штаны, то в школе, на уроке, вдруг ни с того ни с сего у него в кармане бабахнет самопал, разворотив до кости мясо на ноге.

А года три назад он поспорил с ребяташками, что надёргает из хвоста свирепого райкомовского жеребца Карьки-Сокола волос на леску. Жеребец был диковинным — сам карий, почти вороной, а грива и длиннющий хвост ослепительно белые, словно поседевшие. «Потому что меринос», — объяснял любопытствующим ребяташкам райкомовский конюх Евсей Галаншин, пускавший на ночь пастись жеребца за село. И, видя, что ребяташки не понимают мудрёного слова, сердился: «Кыш отседова, вороньё! Знаю ить, волосу хотите надёргать. Он вам копытом-то дерганет по кумполу...» И, застегнув передние ноги коня прочными волосяными путами, удалялся, строгий и прямой как жердь.

Белый хвост Карьки-Сокола был мечтой. Но выдернуть из его хвоста хотя бы волосинку ещё никому не удавалось. Он подпускал к себе только деда Евсея. Если приближался кто другой, жеребец

вскидывал голову, скалил, как собака, длинные плоские зубы и угрожающе поворачивался задом.

Разрешать спор отправились поздно вечером, когда дед Евсей, по обыкновению, отвёл жеребца на лужайку.

— Наблюдать с этого места, — сказал Николай, останавливаясь метрах в двухстах от жеребца. — Ближе не подходить.

— Почему? — любопытствовал Димка.

— Опасно, — небрежно кинул Колька. — Вдруг он рассвирепеет да кинется на вас? Растопчет, а я потом отвечай...

Это подействовало. Ребята остановились. Колька пошёл к коню. Ребятишки наблюдали за ним затаив дыхание, бешено завидуя Колькиной смелости.

Жеребец, спокойно щипавший травку, при Колькином приближении вскинул голову, заржал. У ребятишек заёкало от страха в животах. Но Колька, не останавливаясь, тихонько шёл к коню, протянув руку. Ещё через мгновение он стоял возле жеребца и спокойно гладил рукой плоскую щеку лошади. Ребята смотрели на такое чудо, разинув рты.

Никто из них не знал, что Колька целый месяц приваживал к себе жеребца.

Как-то, отгоняя утром корову в стадо, Колька заметил, что дед Евсей, прежде чем распутать и

увести жеребца, скормил ему краюху ржаного хлеба. Карька съел хлеб и благодарно потёрся щекой о заскорузлые от времени руки старика. Николай хмыкнул, сел на мокрую от росы траву и стал что-то соображать.

Вечером он пришёл на лужайку с большим ломтём ржанухи. Едва старик, оставив спутанного жеребца, уковылял в деревню, Колька двинулся к лошади, протягивая на длинной палке ломоть хлеба.

Несколько вечеров Карька-Сокол шарахался от палки, скалил угрожающе жёлтые зубы и поворачивался задом. Но постепенно волнующий запах ржанухи, видимо, сделал своё дело, и однажды Карька осторожно взял с палки хлеб.

Через неделю жеребец брал хлеб уже из рук, а ещё через неделю позволял себя гладить по шелковистой щеке.

Колька решил, что дело сделано и пришла пора удивить и поразить всех уличных огольцов.

Скормив, как всегда, краюху хлеба, тайно принесённую за пазухой, Колька с полминуты гладил Карьку-Сокола по щеке, потом похлопал по крутой и крепкой, как камень, шее, провёл ладонью по лоснящемуся крупу. Жеребец вздрогнул, завернул голову, блеснув лиловым взглядом. «Чего ты, дурашка?!» — ласково проговорил Колька. Привычный голос, видно, успокоил, жеребец

перестал дрожать, принялся щипать траву.

Колька, продолжая одной рукой оглаживать круп, другой осторожненько выбрал из хвоста прядку волос, намотал на кулак, стремительно отскочил назад и что есть силы дёрнул. Но то ли конский хвост был очень крепок, то ли от жадности Колька захватил слишком большую прядь, только выдернуть её ему не удалось. Жеребец заплясал от боли, вспахивая копытами землю. Колька шарахнулся было прочь, но руку накрепко захлестнуло конским волосом. Жеребец взбрыкнул задними ногами, чудом не расколов парнишке голову. Колька отскочил в сторону, пытаясь выпутать из хвоста руку. И в это время Карька-Сокол, изогнувшись, хватанул его оскаленными зубами за бок...

Когда ребята подбежали к Инютину, тот лежал ничком, не шевелясь. С оголённого бока свешивался кровавый лоскут кожи почти в ладонь величиной.

Застонав, Николай открыл глаза, сел и поглядел на свой бок, из которого хлестала кровь. Снял порванную лошадиными зубами рубаху, разодрал её на узкие полосы, прилепил на место свесившийся лоскут кожи и молча принялся себя перебинтовывать.

— Ладно, пойду в больницу, — сказал он, поднимаясь.

Бок ему залечили, только на всю жизнь обозначился на смуглом Колькином теле подковообразный белый рубец. Да навсегда прилипла к Инютину после этого звучная кличка Карька-Сокол.

Несмотря на то что с ним то и дело случались подобные происшествия, Колька слыл хвастуном и безудержным вралём. Может, потому, что, рассказывая о действительных своих приключениях, он всегда что-нибудь преувеличивал, приукрашивал, а то и привирал.

Рассказав о случае на Лешачином омуте, он отошёл в сторонку, сел на горячие камни и нахохлился.

— Это разве рыбалка! — крикнул Андрейка, вышел из воды и швырнул на землю удочку. — Совсем клёву нету.

Семён, стоя спиной к реке, глядел в степь, на дорогу. По ней шёл какой-то человек. Он миновал столбы высоковольтной линии и на развилке повернул влево, в сторону от реки, на Звенигорский перевал.

— Димка, глянь, что там за дядька шагает по дороге в Михайловку? — проговорил Семён.

— Обыкновенно... С котомкой, в сапогах. А в руках палка, — сказал обладавший ястребиными глазами Димка.

— А не дядя это Иван?

— Да откеля ему? Он же в тюрьме!

При этих словах Витька Кашкаров, опять давно сидевший в сторонке, вскочил, глянул на уходившего к перевалу человека. И, сев на прежнее место, снова принялся угрюмо разглядывать потрескавшиеся от цыпок ноги.

— Почудилось. Плечи у него такие же сутулые, как у дяди Ивана, — проговорил Семён.

Солнце тяжёлыми струями всё полосовало землю, словно занялось целью расплавить её. Раскалённые прибрежные камни, которые время от времени окатывала ленивая и тёплая речная волна, тотчас, на глазах, обсыхали. Бабочки-капустницы, ещё полчаса назад мельтешившие под ногами, куда-то исчезли. Небо было по-прежнему пустынным, только на одном его краю, там, где за текучим маревом недавно вспух маленький ватный комочек, сейчас пузырился огромный столб больнично-белых облаков. Верхушка облачного столба была намного шире основания и, увенчанная громадной шапкой, от тяжести заломилась на правый бок, грозя рухнуть как раз на Шантару.

— Вот что, рыбачки-мужички, — сказал Семён, сбрасывая рубаху, — до вечера клёва ждать нечего. Давайте искупаемся, а потом сварим уху из Димкиного подъязка и Андрейкиного окуня. Пока она варится, я покажу вам несколько приёмов самбо. В том числе «мельницу».

Семён разделся, с полминуты постоял на горячих камнях под завистливыми взглядами ребят. Крепкое, с буграми мышц его тело отсвечивало на солнце медью. На широких, сильных плечах, сожжённых солнцем почти до черноты, упрямо сидела чуть угловатая голова. И короткая шея, и широкие скулы, и крутой лоб — всё было покрыто плотным загарным слоем, лишь густые белые волосы солнце не в силах было сжечь, и они пламенели, как флаг, белым непотухающим огнём.

Постояв у самой кромки воды, Семён чуть присел, резко выпрямился, взмахнув одновременно руками, и казалось, неведомая сила легко оторвала и стремительно кинула далеко от берега, в прохладную глубину реки, его тяжёлое тело. Следом за ним попрыгали в воду и остальные. Лишь Витька так и не тронулся с места. Сидя на берегу под палящим солнцем, он молча разгребал в мокром песке ямку.

Несколько минут ребята плавали у берега, хохоча и дурачась, вздымая радуги водяных брызг. Первым вылез на берег Семён, не одеваясь, порылся в карманах брюк, закурил. С его остуженного водой тела скатывались прозрачные капли.

— Скажи-ка, Витя, что такое с тобой? Дома что-нибудь? — спросил он, присев возле парнишки.

— Отвяжись ты, — вяло сказал тот, встал и

пошёл прочь от берега.

Семён догнал его в несколько прыжков, загородил дорогу.

— Ну что, что?! — почти со злостью выкрикнул Витька, вскидывая давно не стриженную головёнку. — Что тебе надо?

— Мне-то ничего. — Семён взял парнишку за плечо. — Я ничем не могу тебе помочь?

— Не можешь! Да, не можешь! — с отчаянием вскрикнул Витька, сбросил тяжёлую Семёнову руку и пошёл дальше. Однако через несколько шагов обернулся. — К нам сёдни ночью этот... Макар Кафтанов приехал, понял?

— Макар?! — воскликнул Семён и невольно поглядел вправо, на дорогу, по которой недавно в Михайловку прошагал человек с котомкой, издали похожий на дядю Ивана, уже несколько лет находившегося в заключении.

Витька понял этот взгляд, проговорил:

— Может, они вместе и приехали.

Семён хмуро молчал. Макар Кафтанов, его дядя по матери, был знаменитым вором, большим специалистом по ограблению магазинов. В свои двадцать восемь лет он уже имел шесть судимостей...

* * *

После завтрака Фёдор Савельев через хлев вышел на двор, крикнул зычно и властно:

— Кирья-ан!

Тотчас отмахнулись в инютинской избёнке дощатые двери, на покосившееся крылечко с лохмотьями облезавшей краски стрелой выскочил, что-то дожёвывая, Кирьян Инютин.

— Позавтракал? Айда на станцию.

— Воскресенье же... Я поллитровку в погреб кинул, чтоб нахолодала.

— Какая поллитровка! На носу уборочная, а твой трактор ещё в развале весь.

— Так... Чего же, раз надо, стало быть, значит, я разом, — тотчас согласился Кирьян.

Избёнка Инютиных, сложенная из тонких и корявых бревёшек, рядом с просторным домом Савельевых казалась особенно маленькой, ветхой и невзрачной. Таким же невзрачным и никудышным был узкоплечий и гололобый Кирьян Инютин по сравнению с глыбистым, медвежковатым Фёдором Савельевым.

Кирьян нырнул обратно в тёмный зев сенок. С огорода, неся что-то в фартуке, подошла к крыльцу жена Кирьяна — остроносая, с узкими глазами, из которых вечно бил шалый огонёк, Анфиса. Крутогрудая и статная, она, несмотря на свои тридцать девять лет, всё ещё казалась девчонкой.

Она шла, не замечая Фёдора. Её старенькая,

ветхая юбчонка была высоко подоткнута, красные, нахолодавшие икры, вымоченные росной огородной зеленью, залеплены грязью.

— Здоровенько ночевали, — сказал Фёдор.

— Ой! — воскликнула женщина, торопливо одёрнув юбку.

Фёдор шагнул к плетню, разделявшему их усадьбы.

— Подойди-ка...

Анфиса качнулась, словно в нерешительности, подошла.

— Ну? — Глаза её были опущены, припухшие, красноватые веки чуть подрагивали.

— Как стемнеет, буду ждать... в наших подсолнухах, а? — трогая ус, кивнул Фёдор на делянку подсолнухов, прилепившуюся на задах огорода. — Придёшь?

Анфиса брызнула на Фёдора крутым, как кипятком, взглядом и молча принялась рассматривать молоденькие огурчики, лежавшие у неё в фартуке.

— Жалею я, что отдал тебя Кирьяну, — усмехнулся Фёдор. — Ишь, не стареешь будто. Износу тебе нету. А моя Анна...

— Чего теперь об этом... — вздохнула Анфиса.

— Так придёшь?

— Ладно. Если Кирьян не проснётся, —

просто сказала Анфиса и, видя, что Кирьян вышел из дома, ткнула огурцом в широкую ладонь Фёдора. — Попробуй, с нашего огорода.

— Огородница ты знатная, на всю улицу, — произнёс Фёдор.

— Это уж действительно, — хмуро подтвердил Кирьян. — Про всякую овощ ещё слыхом не слыхать, а у неё уж на столе... Ну, пошла! — раздражённо прибавил он и подтолкнул жену к крыльцу.

Фёдор и Кирьян вышли на улицу и молча зашагали к МТС.

* * *

После колчаковщины Фёдора Савельева, по совету председателя волисполкома и бывшего командира партизанского отряда Поликарпа Кружилина, назначили начальником Шантарского почтового отделения, а Фёдор взял бывшего бойца своего эскадрона Кирьяна Инютина в завхозы. На почте они проработали без малого десять лет — до 1931 года. Сперва вроде всё было хорошо, но с годами Кирьян стал попивать, наловчился потихоньку сплавлять на сторону кое-что из почтового хозяйства — то моток проволоки, то дюжину-другую сосновых телеграфных столбов, то конскую упряжь. Фёдор неоднократно мылил ему

за это шею, тряс увесистым, заволосевшим на казанках кулаком перед крючковатым Кирьяновым носом.

— Да что ты, что ты, Фёдор, — моргал невинными глазами Инютин, вытирая ладонью проступавшие на залысинах крупные капли пота. — Да рази я, переверот мне в дыхало, осмелюсь что с государственной ценности... Не иначе конюхи, разъязви их, пропили. Я прижму их, паразитов, они у меня иголки больше не своруют...

Потом Кирьян ловко научился вскрывать посылки, вытаскивать оттуда разное барахло. Жалоб на работу почты было всё больше. И вскоре Фёдору пришлось оставить работу.

— Бывший партизан! Лихой командир эскадрона! — гремел на него Кружилин, ставший к тому времени секретарём райкома партии. — Да какого эскадрона?! Лучшего в полку! Развалил почту, распустил людей... Меня подвёл... Позор!

После этого Фёдор устроился на работу в недавно организованную районную контору «Заготскот» — приёмщиком в Михайловское отделение.

В Михайловке первым, кого он встретил, был младший брат Иван — белобрысый, точно вылинявший от долгого сидения в тёмной яме, худой как палка, с тонкой и жёлтой кожей на скулах, сквозь которую, казалось, просвечивали

кости.

— Ты?! — удивился Фёдор. — Как ты тут?!

Иван отвернулся, поглядел на угрюмые в вечерней наволоке глыбы Звенигоры. Под мышкой у него торчал кнут.

— Пастухом я работаю на отделении, — сказал он.

— Ну, это мы исправим живо, — усмехнулся Фёдор. — С бандитами я не разучился управляться. Откель же ты, контрик?

— Яшка Алейников разъяснит... коли потребуется, — сказал Иван и пошёл. Распахнутые полы его заскорузлого под дождями и степными ветрами брезентового дождевика цеплялись за жестяные стебли полыньника.

Яков Алейников, бывший начальник разведки кружилинского партизанского отряда, после гражданской войны работал в ГПУ. Узнав, зачем пожаловал к нему Федор, Алейников потер косою рубец на левой щеке — след зубовской шашки, сказал:

— Брательника твоего еще в двадцать пятом выпустили из Барнаульского домзака. Он свое отсидел.

— Пять лет врагу Советской власти — что за мера?!

— Суду видней было. Нашли смягчающие вину обстоятельства. Потом несколько лет работал

в Барнауле — бондарил в какой-то мастерской, мыл в затоне керосиновые баржи. Там же и женился на буфетчице какого-то парохода. Сюда переехал с нашего ведома. В артель колхозники поостереглись его принять...

— И я не буду с ним работать. Понял?

— Я-то понял... Я бы всех подобных субъектов, которые об контрреволюцию замарались, к стенке — и весь вопрос. Для страховки и спокойствия в стране. Да Кружилин говорит — пусть работает, ничего... Цацкаемся. Они бы с нами не цацкались... — И, походив по кабинету, остановился у окна, глубоко зацепил Савельева холодным взглядом из-под сдвинутых лохматых бровей. — А что ты уж с такой злобой к нему? Брательник всё же...

— А непонятно разве?

— Ну ладно, — усмехнулся Алейников. — Это дело ваше, родственное, так сказать. — И опять потерев шрам на щеке, прибавил: — А ежели подойти с классово-пролетарской точки зрения, то я бы тебя просил, Федор, если что заметишь в нем... душок какой, мысли... не говоря уже о действиях...

— Ты?! — Федор хотел встряхнуть его за новые, глянцево блестящие от солнечных лучей, бивших из окна, ремни, но не решился. — Шпионить я не буду. Это уж как хошь.

И ушел. Яков Алейников, чуть приподняв

лохматую бровь, проводил его задумчивым взглядом.

Как ни кипел Федор, а пришлось ему жить в Михайловке рядом с ненавистным братом. В гости один к другому не ходили, друг с другом не разговаривали. Разве только Иван иногда, отогнав гурт нагулянного скота в Шантару, отдавая Федору сопроводительные документы, спрашивал:

— Всё?

Федор, пошевеливая усом, долго рассматривал цифры и подписи на измятых, желтых листках и кидал, не достаивая Ивана взглядом:

— Всё.

Крепла, закручивалась тугим и тяжелым узлом давняя вражда между братьями, рождала догадки у михайловских колхозников, плодила бесконечные пересуды.

— Зудит рука у Федора на контру. Хлестанет, должно, когда-нито...

— Обои они кандыбышны... в смысле — одного поля ягода. Федор-то тоже кулацкую дочку в жены взял...

— А зря вы. Кафтанов зверь был, спытали его милости. А дочь его, Анна эта, партизанила вместе с Федором...

— Партизанила... Блуд чесала об Федьку — это верно...

— Из одной чашки, хе-хе, братовья, должно,

хлебали...

Слушая деревенские пересуды и шепотки, ловя на себе то откровенно насмешливые, то вопросительно-удивленные взгляды, Федор мертвел лицом.

— Слушай, уезжай ты отсюда к чертовой матери! — примерно через год не выдержал Федор. — Уходи от греха! Добром прошу.

— Чем я тебе сейчас-то мешаю? — шевельнул Иван усами.

— Усы мне твои не нравятся! — полоснул Федор брата откровенно ненавидящим взглядом.

Усы Иван отпустил недавно, такие же густые и жесткие, как у Федора, такой же подковкой. Разница были лишь в том, что у Федора они были черными как смоль, а у Ивана светло-русыми, под цвет бледно-серых, как застывшее в июле знойное небо, глаз.

— Усы как усы... Навроде твоих, только цвет другой.

Внутри у Фёдора что-то ёкнуло, как селезёнка у лошади, он затряс брата, сграбастав за отвороты пиджачка:

— Смеёшься, гад? Изгаляешься! Намёками до кишок пыряешь?! — И, не помня себя, рванул за отвороты вниз.

Треск отрываемых лоскутьев словно остудил Фёдора, он отступил на шаг поглядел на зажатые в

кулаках лохмотья.

— Сдурел ты окончательно, — спокойно произнёс Иван. — Какие намёки ещё...

В это время заскочила в пригон, где произошла стычка братьев, жена Ивана, Агата, маленькая, вёрткая женщина. Шла она мимо куда-то по своим делам и уже миновала было скотный загон, но её остановили голоса мужчин.

— Ах ты паразит такой! Сволота, кикимор нечёсанный! — с ходу обсыпала она Фёдора бранью, как горохом из ведра. — Со свету совсем Ивана сживаешь? Мужик и без того намыкался, а ты доказнить его хошь? Последние ремки на нём рвёшь. Сам-то в суконной паре ходишь, а мы — в лохмотьях. Скидывай, мурло свиное, свой пиджак сейчас же...

Сверкая глазами, она прыгала вокруг кряжистого Фёдора, болтала вывалившимися из-под платка косами, трясла кулачками, потом принялась сдёргивать с него пиджак. Фёдор пятился от неё, отбивался, как от озверелой, с лаем наседающей собачонки. Женщина сорвала с него пиджак, свернула его в ком, зажала под мышкой, убежала.

— Не бойся, верну тебе одежду, — проговорил Иван, подобрал с земли оторванные полы своего пиджака.

Фёдоров пиджак он принёс в дощатую

каморку на следующий день, молча кинул на скрипучий стол.

— В продолжение вчерашнего прибавлю, — пряча почему-то глаза, произнёс Фёдор. — Ежели замечу, что привечаешь разговором... али как Сёмку... и уж совсем не приведи господь, коли увижу тебя рядом с Анной... На людях ли, без людей ли — всё равно... Не обессудь тогда.

— Ну как же, — произнёс Иван, — ты не Кирюшка Инютин, знаю.

В два прыжка Фёдор оказался рядом с братом, едва сдерживаясь, чтобы опять не схватить его за плечи.

— Рви снова на мне одёжу, — будто посоветовал Иван. — Видишь, Агата пришила оторванные полы. Ничего, ещё пришьёт.

— Нет, одёжу рвать не буду! — прохрипел Фёдор, зажимая внутри себя этот хрип. — Я тебя, контру, просто прикокну, ежели ты... сплетни распускаешь!

— Убери руки, ну?! — ошетинился наконец Иван. — Они у тебя в волосьях.

Несколько секунд братья стояли друг против друга, молча кромсая один другого глазами.

Первым не выдержал Фёдор, отвернулся и пошёл к столу.

— Сплетни... Вся деревня про вас с Анфиской судачит.

— Ну, гляди у меня, ходи, да не оступись, — вяло, будто без всякой злобы теперь, промолвил Фёдор.

...Кирьяна Инютина Фёдор перетянул в Михайловку вскоре после того, как только обосновался на новом месте, выговорив ему в районе место своего помощника, хотя, по совести, должность Фёдора была нехлопотливая — одному делать нечего. Жить Инютины стали в том же доме, что и Савельевы, в пустующей половине. Когда Инютины переезжали, Анна слушала, как они устраиваются за стенкой, гремят вёдрами, посудой, и временами тихонько плакала.

— Н-ну, сыть! — покрикивал на неё Фёдор. — Чего ещё!

Недели через две-три шалая Михайловская бабёнка Василиса Посконова, возвращаясь с колхозных полей, застала Фёдора и Анфису за деревней, в кустах, росших обочь дороги.

— И-и, бабоньки! — захлёбываясь от нетерпения, шмыгала она в тот же вечер по деревне, из избы в избу. — Стыдобушка-то-о! Он её, значит, усами щекотит в голые титьки, а она похохатывает... Я думаю: что за хохот тут? Девки, думаю, какие в кустах дурачутся... Сёмка гляну... Раздвинула ветви-то — ба-атюшки!

Потом ещё несколько раз видели Фёдора с Анфисой то в перелеске где-нибудь, то в поле, то на

берегу Громотухи.

— Тьфу! — плевались деревенские бабы, перемывая Анфисины косточки. — И как глаза у ней от бесстыдства не полопаются! Ить детная же, Верке уж десять лет, скоро заневестится.

— Да и меньшей, Колька, всё соображает, поди.

— В мокрых пелёнках ишо давить таких надо...

И чего не могли взять в толк Михайловские мужики, так это поведения самого Кирьяна. Он отлично знал, что его жена путается с Фёдором, об этом ему не раз говорили в глаза. Находились даже добровольцы, изъявлявшие желание немедля отвести Инютина в лесную балку или степной буерак, чтоб на месте «пристегнуть голубчиков». Но Кирьян только чертил по воздуху крючковатым носом, сплёвывал на испечённую зноем землю и говорил:

— Чтоб моя Анфиса?! Да ни в жисть! Она скорей шею сама себе перекусит, чем что бы там ни было...

Но люди знали — частенько Кирьян зверски напивался, уводил жену за деревню, в какое-нибудь глухое место, и там безжалостно и жестоко избивал, не оставляя на её тугом белом теле живого места. Обычно до ночи Анфиса отлёживалась в кустах, а с темнотою тихонько, чтоб никто не видел,

приползала в деревню.

Иван смотрел на такую жизнь брата молча, Анфисой больше не попрекал и жене строго-настрого запретил.

— Иначе сожрёт меня Федька с потрохами.

— Да за что он взялся на тебя, живоглот такой?

— За то, видно, что у Кафтанова в банде служил. И за Анну. Будто от меня у ней Сёмка... — глухо проговорил Иван. — Я же рассказывал тебе обо всём... как оно было. У меня нет от тебя утаек.

— А может, нам уехать отсюда? А, Иванушка? — спросила Агата однажды после ужина.

Иван не отвечал долго. В углу, посапывая, возился трёхлетний Володька, перебирал пустые, давно замусоленные катушки из-под ниток.

— Нет, не дело, — вздохнул наконец Иван. — Тут я родился. Тут батьку с маткой... колчаковцы сгубили. Старший брательник, Антон, правильно пишет: «Тут, в родной деревне, замазывай свои грехи. Пушай, говорит, их могилы вечно твою память скребут».

Антон, старший из братьев Савельевых, после гражданской жил в Харькове, работал заместителем начальника цеха на тракторном заводе. Всё это Агата знала. Знала и о письме, о котором говорил муж. Оно было получено давно, ещё в Барнауле.

Благодаря ему они и оказались здесь, в Михайловке, хотя Агата уговаривала Ивана остаться в городе.

— Написать всё вот Антону хочу, да не соберусь. Карточку надо бы попросить. А то прийдись встренуться — не узнаю ведь, пройду мимо. Я ж его последний раз в тыща девятьсот десятом, что ли, году видел. Он тогда то ли из Томской, то ли из Новониколаевской тюрьмы убежал. А следом за ним — жандармы. Ну, да и об этом обо всём я рассказывал тебе.

В тот вечер оба не спали долго. Лежали, смотрели в темноту.

— Вань... А ты не досель её, Анну-то... любишь?

Неслышной волной тронуло Иваново тело, будто прокатился где-то внутри у него проглоченный вздох.

— Хватил я через неё, проклятую, лишенька... Всю жизнь ведь переломала мне. Кабы не она, разве я б оказался в банде Кафтанова? — И помолчал: — Хотя что её винить?

Повернулся к жене, провёл жёсткой рукой по волосам, по лицу. И, ощутив мокрые от беззвучных слёз щёки, сказал:

— Ну-ну... Если бы что этакое... разве бы я стал с тобой жить? Да и вообще — как бы я на земле, не встретить тебя? Куды бы я! Спи.

Он прижал к груди её голову. Успокоенная, она заснула.

Помня предостережение Фёдора, Иван года два жил, будто отгородившись невидимой стеной от его семейства, от Кирьяна Инютина, от Анфисы. Если где встречал кого ненароком, проходил мимо, даже не взглянув. И на него никто не смотрел, только Анфиса полоснёт иногда острым зрачком, но тут же прикроет глаза, будто устыдившись. Да один раз десятилетний Семён, ковырявший в перелеске какие-то сладкие корни, подошёл к Ивану, который сидел под сосной, наблюдая за бродившим по угору стадом.

— Эй, дядька... — сказал Семён, сунув в карманы измазанные землёй руки. — Люди будто говорят, что ты мой дядька.

— Это правда, я твой дядя, — ответил, помедлив, Иван.

— А что же ты тогда у беляков служил?

— Так вот... пришлось, — растерянно улыбнулся Иван.

— Эх, контра белопузая! — угрюмо бросил парнишка и ушёл, не вынимая рук из карманов.

Но если эта стенка между братьями не таяла, то к Михайловским жителям Иван потихоньку притирался. Всё меньше и меньше ощущал он на себе косых, обжигающих любопытством и неприязнью взглядов, всё чаще при встречах

здоровались с ним мужики, а то и останавливались поболтать, угощали крупно крошенным, ядовитым на цвет и на вкус самосадам, который при затяжках свирепо трещал, брызгал искрами.

Видно, сказывалось тут и время, незаметно заставляющее людей привыкать ко всему, делал своё дело общительный характер Агаты. Живо перезнакомившись со всеми бабами, она частенько бегала на колхозные работы, то семенное зерно в амбарах помочь подсеять, то запоздалую полоску хлебов серпами сжать.

— За-ради чего ты хлобыстаешься пуще нас? — спрашивали иногда женщины. — Ведь не колхозница.

— Не убудет меня, — с улыбкой отвечала Агата. — Иван-то хоть коров пастушит, а я вовсе не разминаюсь.

Да и сам Иван время от времени помогал колхозу то сбрую починить, то сани наладить. Он умел отлично гнуть дуги и колёсные ободья, делать бочки и кадушки. Председатель «Красного колоса» (так назывался Михайловский колхоз) Панкрат Назаров то и дело обращался к Ивану с разными просьбами и ни разу не получал отказа.

И однажды в дождливый осенний вечер бывший заместитель командира партизанского отряда Панкрат Назаров завернул в халупку к Ивану.

— Погодка, язви её... — Он смахнул сырость с бороды, вытащил кiset, присел у дверей. С дождевика его на некрашенный пол текла вода. — Насвинячу тут у вас.

— Ничего, — улыбнулась Агата. — Какая трудность подтереть! Раздевайся, чаю попьёшь горячего.

— Не до чаёв, — хмуро сказал Панкрат. — Солому с прошлогодних скирд перемолачиваем. Да что...

Шёл голодный тридцать третий год, за неурожайным летом надвигалась долгая, зловещая зима.

— Вы-то как? Зиму протянете?

— Картошка есть, не помрём, может, — ответил Иван.

— Не помрём, — широко улыбнулась опять Агата, будто она твёрдо знала о какой-то приближающейся радости.

— Правда, с такой женой грех помирать, — сказал Панкрат. И вдруг спросил: — Слухай, Иван, в колхоз пойдёшь?

Иван, строгавший в углу кадочные клёпки, отложил рубанок, выпрямился. Агата птицей метнулась к мужу, будто ему угрожала какая опасность, повисла на плече.

— А примете? — спросил Иван.

— Сейчас многие с колхозу бегут, — вместо

ответа проговорил председатель, растирая усталые глаза. — Грузят лохмотья на телегу и уезжают. В город подаются, на заработки. Думают, там слаще.

— На следующий год будет, будет урожай! — почти зло выкрикнула Агата.

— Должон, поди, — согласился Панкрат. И, помолчав, произнёс: — Я вот думаю всё — Михаила-то Лукича Кафтанова, Анниного отца, ты зачем тогда пристрелил? Так ить разумно не объяснил. Чтобы своё бандитство искупить?

— Нет, не потому. — Иван освободился тихонько от жены.

— А Яшка Алейников и тогда и сейчас говорит — потому. И брат твой Фёдор — тоже.

— А им откуда знать, потому или не потому?! Я им об том тоже никогда не докладывал. И на допросах никому не разъяснял. И разъяснять не буду.

— Что шумишь? — сказал Назаров, вставая. — Не будешь — дело твоё. А живёшь, вижу, без пакости в душе. И мужик ты нужный для хозяйства, руки золотые. Яшка Алейников говорит: «Не вздумайте в колхоз принимать, затаился он, сволочуга, сейчас хвост прижал, а урвёт время — гвоздём вытянет да на горло скочит...»

— Вон что, — усмехнулся Иван тяжело и горько. — Застрял, значит, я, как телега в трясине за поскотиной.

— Была трясина, теперь нету, забутили недавно. Теперь — сухое место. — Назаров застегнул дождевик. — Оно и в жизни человеческой так бывает. Алейников этого в расчёт не берёт, видно... Ну, да хрен с ним. Обдумайте с Агатой всё, а по весне примем вас в колхоз.

И приняли. Иван боялся, что на собрании начнут допытываться, отчего да как очутился в банде у Кафтанова, при каких обстоятельствах прикончил его. Тут может и об Демьяне Инютине, бывшем одноногом старосте, вопрос подняться: кто его-то в амбаре пришлёпнул, как, за что? Об Инютине Иван вообще никогда никому не говорил, кроме Агаты, — ни партизанам тогда, ни на суде потом. Но никто ничего не спросил. Может, потому, что Панкрат Назаров, открывая собрание, напрямик сказал:

— Значит, так, Иван Силантьевич... Что ты в банде у Кафтанова был — знаем. За то отсидел, сколь Советской властью было отмерено. Но ежели какие прежние грехи утаил от суда...

— Али злодейства, — вставил мужичок Евсей Галаншин, живший тогда ещё в Михайловке, и победно оглядел колхозников.

— Так вот, ты, Иван, лучше сейчас перед народом признайся. А то ежели всплывёт что потом... сам понимаешь.

— Ничего я не утаивал, — сказал Иван. —

Злодейств никаких не делал. Только портянки Кафтанову стирал да самогонку для него по углам шарил.

— А это не злодейство?! — закричала вдруг Лукерья Кашкарова, баба лет под пятьдесят, на лицо моложавая, всё ещё хранящая следы былой красоты. — У меня, паразит, четверть самогонки из избы выпер. До сих пор бутыль помню — на горлышке краешек сколотый... Ишо плёткой на меня замахнулся. И день помню: как раз на Аграфену-купальницу было в восемнадцатом году...

— Это было, — сказал невесело Иван. — Ты же уцепилась за эту несчастную бутылку, вроде как у тебя сердце вынимали. А Кафтанов, озверевший от пьянства, велел не только самогонку, а и тебя к нему приволочь.

При этих словах начавшийся было ропоток увял, насторожённое любопытство разлилось по рядам колхозников.

— Ну? — не вытерпел кто-то на задней скамейке.

— Я сказал Кафтанову: «Лушка, видать, унюхала что про твои желания, в степь с вечера убегла».

— Эк ты! — вскочил Галаншин, замахал руками. — Вот этой-то ложи и не прощает тебе Лушка!

— Лишил бабу радости...

— Доседни сожалеет... — заметался в тесной, накуренной конторе хохоток. Лукерья повернула голову вправо, влево, налилась гневом:

— Жеребцы, язви вас! Нахальники... Об чём это я сожалею? Да я, как Иван сказал мне, что Кафтанов... на этакое зарится, при нём же, при Иване, собрала в узел рубашонки для перемены — да в лес. Иван не даст соврать. Скажи ты им, Иван Силантьич! Без перегляду с час бежала, пока сердце не зашло.

— Это верно, побежала ты — на коне вряд ли бы угнаться, — сказал Иван, но его перебил Галаншин:

— А скажи, Иван, случаем, не на заимку по привычке она побежала, что в Огнёвских ключах?

— Кака заимка?! Каки ключи?! — вскочив, закричала Лукерья, но её голос потонул в громовом хохоте.

В молодости Лукерья была девкой бойкой и на любовь щедрой. Видимо, поэтому, несмотря на красоту, замуж её никто не брал, но её щедростью пользовался всякий. А Михайловский богач Кафтанов, когда случались у него загулы, почти в открытую увозил Лушку на свою заимку, жил там с ней по неделям.

Знали также в деревне, что в двадцать восьмом году кто-то из деревенских доброхотов

наградил Лукерью сыном. Почувствовав себя беременной, Кашкарова очень удивилась этому обстоятельству и, встречаясь с бабами, зло разглядывала свой полнеющий живот и у каждой женщины почему-то допытывалась:

— Кто же это, бабоньки, мне подсудобил? Узнать — я бы ему глазищи-то выдавила. Ну, погоди, пушай дитё народится! По обличью отгадаю отца и брошу ему ребёнка под порог.

Но когда родился Витька, Лукерья, сколько ни разглядывала мальчишку, так и не могла определить, на кого он похож.

...Народ смеялся до слёз, до рези в глазах. Лукерья кричала, крутилась среди людей, пытаюсь что-то объяснить, потом села и заплакала.

— Нахальники вы! — выкрикнула она. — Ишо скажете тут вслух, что я с кафтановским сынишкой, с Макаркою путаюсь! Знаю ить, по углам шепчетесь. Как язычищи-то от чирьёв не полопаются!

Люди быстро примолкли. Всем до удивления странно было видеть плачущую Лукерью. И кроме того, очень уж дерзко и бесстыдно высыпала она перед всеми те сплетни и пересуды, которые гуляли про неё по деревне.

Имели ли под собой какую-то почву эти сплетни, сказать было трудно. Старшего сына Кафтanova, Зиновия, возглавившего после смерти

отца его банду, вскоре изловил где-то Яков Алейников. По слухам, Зиновия отправили в Новониколаевск, по-теперешнему в Новосибирск, и там расстреляли. Но у Кафтанова был ещё один сын — Макар. В девятнадцатом году мальчишке было лет шесть, Кафтанов прятал его где-то по таёжным заимкам. И, поговаривали, не без помощи той же Лукерьи.

Где потом жил Макар, да и жив ли он вообще — было неизвестно. Но в тридцатом году летом приехал в Михайловку высокий, узкогрудый, чернявый, точно закопчённая самоварная труба, парень, одетый чисто, по-городскому, в шляпе, с тросточкой. Он переночевал у Кашкаровой, а утром появился на улице, приковывая общее внимание диковинным своим видом.

— Кто же ты такая птица? — скорее других осмелился приблизиться к нему Евсей Галаншин.

— А Макар я. Макарка Кафтанов. Приехал вот на родину.

— Во-он что-о, милый! — протянул Евсей и поводит расплющенным носом. — А ежели тебя загребут? За родителя-то?

— Не-ет. Я ведь политикой не занимаюсь. Я уголовник.

— Кто-кто?! — заморгал Галаншин.

— Вор я.

— Ча... чаво? — вытянул тонкую шею Евсей

и перестал моргать.

— Да ты не бойся, голуба, — усмехнулся Макар, хлопая Галаншина тросточкой по плечу. — Я только магазины граблю. Специальность у меня такая — магазины. Или, может, у тебя магазинчик есть?

Привлечённые необычным разговором, осмелев, вокруг Галаншина и Макара стали собираться мужики и бабы. Евсей хихикнул недоверчиво, обошёл Макара кругом.

— Шутников и мы видывали. За мангазею-то тебя ещё скорейча в тюрьму упекут.

— Ну, испугали... Да и поймать ещё надо... В общем, так — Лукерья Кашкарова мне мать родная. Куплю дом в Шантаре и перевезу её туда. А пока чтоб и волос с её головы не упал.

С тем Макар и отбыл. Через две недели пронёсся слух, что в Шантаре действительно обворовали магазин и что это дело рук Макара Кафтанова. Лукерья ходила заплаканная, но ни на какие вопросы никому не отвечала.

Потом Макар ещё появлялся в деревне раза два. Все теперь знали, что Кафтанов действительно уголовник, что он часто попадает за свои воровские дела в заключение, но долго не сидит, через полгода, в крайнем случае через год непостижимым образом освобождается.

Оба раза, пожив несколько дней у Лукерьи, он

объявлял, что уезжает в Шантару покупать для неё дом, но сделать покупку не успевал, садился в тюрьму.

Сейчас, когда Ивана Савельева принимали в колхоз, Макара ожидали в четвёртый раз, но он что-то задерживался.

Лукерья плакала, утробно всхлипывая, вытирая мокрое лицо пёстрым платком. Все по-прежнему молчали. Наконец тот же Галаншин произнёс:

— А что ж ты, Лушка, на языки народные в обиде? Ежели оно, как говорится, не то чтобы бревно в глазу, но и, сказать, не соломина...

Кто-то прыснул в углу смешком и зажался. Потёк было, разливаясь, говорок, люди зашевелились. Но шум и говор придавил Панкрат Назаров, рыкнув на всё помещение:

— Ну, будя! Разбалаганились. Об деле давайте. Ну, так что, есть какие, кроме Лукерьиных, возражения супротив Ивана?

Никаких возражений не было.

На второй или третий день после собрания влетел на лёгкой рессорной коляске в Михайловку Яков Алейников, осадил приплясывающего каурого жеребца возле колхозной конторы, бросил чёрные ремни вожжин как раз выходявшему от председателя Ивану:

— Подержи!

И вбежал на крыльцо по расшатанным ступеням.

О чём Алейников говорил с Панкратом, неизвестно. Только вышли из конторы оба взъерошенные, как подравшиеся воробьи. Назаров не поглядел даже в сторону Ивана, пошёл по своим делам. Алейников же, приняв вожжи, подёргал рубцом на левой щеке:

— Интересненько приклеиваешься.

— Ничего я не приклеиваюсь.

— Ну! — взмахнул Алейников бровями. — Это позволь уж нам самим знать! — И, упав в коляску, укатил.

Вечером того же дня Иван встретил Панкрата у амбаров.

— Что он, Яшка? Насчёт меня, должно?

— А хрен с им, — сказал Назаров. — Он насчёт всякого обязан, его дело такое...

Эти слова успокоили Ивана и всполошённую наездом Алейникова Агату. Ночью она молчком взяла его руку и положила себе на живот. Иван не ощутил ничего, кроме мягкой теплоты её тела, но обо всём догадался.

— Когда? — спросил Иван, погладил её холодноватое плечо.

— К Октябрьским праздникам, должно, будет.

— Молодчина ты у меня. Вишь, радость, как и беда, тоже не ходит одна.

А в июне, когда начался сенокос, Ивана арестовали.

Был жаркий день, в небе звонили жаворонки. С утра колхозники начали косить луг недалеко от Громотухи. Намотавшись литовками, прилегли после обеда под кустами, дышали тёплым, сладковатым духом вянущей травы. Иван глядел, как солнце выжимает влагу из скошенных валков, как дрожит над ними тёплый воздух, и, улыбаясь незаметно, тихо и покойно думал об Агате, которая лежала рядом на спине, крепко скрестив расцарапанные прошлогодними дудками ноги, прикрыв лицо вылинявшим платком, думал о ребёнке, которого носит она в себе. Ивану хотелось, чтобы это была дочь.

На дороге, сползающей к лугу по угорью, гулко затарахтели дрожки. Иван только голову повернул на стук, а жена уже стояла почему-то на ногах, прикрыв ладошкой глаза, всматриваясь в дорогу. Потом испуганно притиснула руки под начинающие уже набухать груди.

— Ты чего, Агата? — поднялся Иван.

— Ой, не знаю... Заколотилось сердце отчего-то...

Дрожки подъехали, соскочил с них плотно запылённый — даже в мохнатые брови густо набилась пыль — Яков Алейников, а с ним пожилой милиционер.

— Здорово, колхознички. Бог в помощь, — сказал он повскакавшим людям и повернулся к Ивану: — Ну, поехали, значит. Как приклеился, так и отклеим.

Вскрикнула Агата, повернулась к Алейникову посеревшим лицом, загораживая мужа.

— Отойди, баба! — строго произнёс Яков.

— В каталажку, что ль, Ивашку? — спросила испуганно Василиса Посконова, та самая Василиса, которая впервые разнесла по деревне весть о непристойных взаимоотношениях Фёдора Савельева и жены Инютина. — А за что, ежели спросить?

— И прям, товарищ-гражданин, разъяснил бы людям, — угрюмо поддержал её пожилой, кряжистый колхозник Петрован Головлёв, разгребая пальцами на обе стороны давно не стриженную бороду.

— Пос-сторонись! — кинул Алейников зычно. Но круг не разорвался. Люди молча и ожидающе поглядели на него.

— А действительно, что случилось? — проговорил, подойдя к Алейникову, двадцатитрёхлетний сын председателя колхоза Максим Назаров, высокий, с таким же крепким и широким, как у отца, подбородком. Девятнадцати лет Максим ушёл в армию, неделю назад приехал в отпуск к родителям, поблёскивая рубиновыми

лейтенантскими кубиками на петлицах гимнастёрки. Нынче с утра он вместе со всеми махал литовкой и уморился, видать, после обеда сразу же заснул, уронив голову на копёшку травы. Сейчас глаза его были припухшими, на щеке ещё держались вмятины от травяных стеблей.

— Уголовное дело, — недовольно сказал Алейников. — А может, и политическое. Суд разберётся.

— Да что такое Иван изделал? — тонким фальцетом враждебно крикнул Евсей Галаншин и оглядел колхозников, ища поддержки.

— Именно...

— Неуж людям нельзя обсказать... — посыпалось со всех сторон.

— А может... может, Иван всё же утаил какие прежние грехи? — крикнул тот же Евсей Галаншин, никогда не отличавшийся постоянством. — А теперича всплыло? Панкрат предупреждал, помните?!

— Ладно, мужики, — вошёл в круг Иван. — Братец Фёдор, должно, удружил мне. За тех двух жеребцов. Да разберутся же люди...

— Это какие такие жеребцы? — крутнулся Евсей к Алейникову. — Что по весне потерялись, что ли? Отделенческие?

— Они, — сказал Иван и вернулся к плачущей Агате.

Два отделенческих жеребца, на которых Фёдор разъезжал по своим заготовительным делам, потерялись дня через три или четыре после увольнения Ивана.

— Значит, колхозник теперь? — усмехнулся Фёдор, когда Иван принёс заявление с просьбой освободить с работы.

— А тебе что, опять не нравится?

— Мне что? Приняли — колхозничай.

А потом и потерялись эти злосчастные лошади. Вечером Кирьян, как обычно, спутал их и пустил на ночь в луг (уход за этими жеребцами и был, пожалуй, единственной обязанностью Инютина). А утром взял уздечки и пошёл ловить коней. Но их и след простыл.

— Та-ак-с... — сказал наутро Фёдор, встретив Ивана на улице. — Пока работал на отделении, пакостить не осмеливался, а теперь, значит, решился?

— На что я решился? — произнёс Иван. И только после этого дошёл до него зловещий смысл Фёдоровых слов. — Да ты... Ты что городишь?! Придумал бы поумнее что...

— Разберёмся, милоч, — бросил Фёдор и, покачивая широкой спиной, ушёл. И вот приехал Яков Алейников.

Иван долго и молча гладил вздрагивающую спину прильнувшей к нему Агаты.

— Будет, будет... Чего зря? Это ведь доказать надо. Прощай пока. — И сел в тележку.

Алейников тоже направился к дрожкам, милиционер, сидевший за кучера, подобрал вожжи.

— Пойдите-ка... — И, раздвигая ветки, из-под куста поднялся неуклюжий парень-толстяк Аркашка Молчанов, по прозвищу Молчун.

В Михайловке не было человека диковиннее, чем этот. За свою почти тридцатилетнюю жизнь он вряд ли произнёс несколько сот слов. Годами иногда не слышал никто его голоса. На людях он бывал часто, хотя обычно сидел или стоял где-нибудь в сторонке, слушал, о чём гомонит народ, поглядывал с любопытством вокруг из-под своего спутанного тяжёлого чуба. Но молчал, как камень, и на его красивом, монголистом лице не отражалось абсолютно ничего.

— Слушай, Аркашка, ты немой, что ли? — спрашивали его иногда.

Обычно Аркадий ничего не отвечал на такие расспросы. Но, случалось, всё же разжимал губы:

— Почто же? Нет.

— Так чего всё молчишь-то?

— А об чём мне говорить?

И умолкал намертво снова на год, на два.

Аркадий был работающ, тих, добродушен и обладал чудовищной силой. Пятипудовый куль с пшеницей он шутя забрасывал на брчку одной

рукой, взявшись за рога, легко валил наземь любого быка. Его силу особенно почему-то чуяли лошади, при его появлении оседали на задние ноги, беспокойно стригли ушами, хотя к животным, как и к людям, он никогда не проявлял злобы или насилия.

Жил он в просторном, светлом доме, построенном недавно в одиночку, с престарелой, глуховатой матерью, выполнял по дому все женские работы. На советы мужиков жениться отмалчивался по обыкновению, но один раз сказал:

— Они боятся. Какую ни попробуешь обнять — хрустят. Со стекла они, должно, все бабы, сделаны.

Девки действительно боялись этого парня, хотя, зная безобидный Аркашкин нрав, то и дело со жгучим любопытством вертелись у него на глазах.

Едва раздался Аркашкин голос, все умолкли. Аркадий прошёл вразвалку мимо притихших колхозников и сел на дрожки рядом с Иваном.

— Так... И далеко тебя прокатить? — Алейников снял фуражку, вытер мокрый лоб.

— До милиции, — сплюнул Молчанов на траву.

— Это можно. А в чём покаяться хочешь?

— В ту ночь, когда кони потерялись, я на рассвете к Громотухе ходил. Переметы проверить. Мать прихворнула, уши попросила, — не спеша

проговорил Аркадий и умолк.

Все терпеливо ждали, что он скажет дальше. А он и не собирался вроде больше говорить.

— Всё? Выкидываешь тут фортели... Слазь к чёртовой матери!

— Я иду, гляжу — Кирьян тех коней ловит. Инютин-то... Ночью, значит. Ещё серо на небе, а он уж ловит коней. Скакнул на одного, другого в поводу держит. Поехал.

— Ну?! — раздражённо воскликнул Алейников.

— Иди ты... Что орёшь? — обиделся Молчанов и, нахохлившись, отвернулся.

— Ты, Алейников, дай ему высказаться. Не торопи.

— Это ить чудо голимое — Аркашка Молчун беседывает! — закрутился Евсей Галаншин. — Ты давай, Аркашенька, закручивай своё ораторство... Так, поехал Кирьян. А куда?

— К Звенигоре поехал! — со злостью, которой никто не ожидал, почти крикнул вдруг Молчанов. — Я проверил переметы, обратно иду. И Кирьян с пригорка спускается. Пёхом идёт, уздечками в руках побрякивает.

— Куда же он коней отвёл? — спросил Петрован Головлёв.

— И мне тоже любопытственно стало. Кирьян протопал в деревню, меня не заметил. Я взошёл на

пригорок, глянул — недалече цыганский табор стоит, костры сквозь туман мигают...

Несколько мгновений люди стояли вокруг не шелохнувшись. Иван сидел рядом с Молчановым, опустив голову. Он даже будто и не слушал, о чём рассказывает тяжёлый на язык Аркадий.

Первым нарушил тишину Головлёв Петрован:

— Пойдите, мужики... Так оно что же получается?

— Цыганишкам, значит, коней сплавил? Кирьян-то?

— Люди, люди! — врезалась сбоку в толпу Агата. — Ей-богу, Иван не виноват! Да разве ж он могёт на такое...

— Помолчи, Агата...

— А разобраться надо...

— Что ж ты, Молчун проклятый, раньше никому не обмолвился?..

Поднялся шум, гвалт.

— Тих-хо-о!! — заорал Алейников, размахивая фуражкой. И повернулся к Молчанову: — Значит, свидетельские показания хочешь дать? Что ж, поедем...

Сытый мерин поволок дрожки через луг на дорогу. Агата сделала вслед пару шагов, надломилась полнеющим уже станом, осела в траву. Плечи её крупно затряслись. Колхозники растерянно стояли вокруг, будто все были в чём-то

виноваты. В прозрачно-синем небе по-прежнему густо толкались жаворонки, обливая землю радостным звоном...

Аркадий Молчанов вернулся на следующий день. Он пришёл под вечер, снял запылённую одежду, умылся и жадно начал хлебать окрошку с луком. Мать беспрерывно подливала ему в чашку.

— Чего там с Иваном? — заскочил в дом сын председателя Максим Назаров. — Разобрались?

— Разбираются.

И больше Максим не мог вытянуть из него ни слова.

Потом Молчанова ещё несколько раз вызывали в район. Туда увозили, оттуда он неизменно возвращался пешком, на расспросы не отвечал, только хмурился всё сильнее и сильнее.

Таскали раза три в район и Кирьяна Инютина, раз вызвали Фёдора Савельева. Кирьян возвращался всегда в подпитии, любопытствующим, как и Молчанов, не отвечал, только, скривив рот, произносил всегда одну и ту же фразу:

— Ништо, переворот ему в дыхало. И Аркашке вашему тоже. Честного человека не обгадить, как птице могильный крест.

И Фёдор после поездки был немногословен.

— Дал бог мне братца... — только и произнёс он.

В конце августа тридцать пятого года Ивана

осудили на шесть лет. Фёдор встретил это известие молчком, только усами нервно подёргал. Кирьян Инютин напился и вечером зверски избил жену.

Колхозники не знали, что и думать.

— Дык что же ты, чурбак безголосый, болтал, что видел, будто Кирьян цыганам свёл лошадей? — кинулись некоторые к Молчанову. — Разве б безвинного засудили?

— Приснилось, должно, а он и заголосил спросонья.

— А идите все вы к... — впервые в жизни тяжело и матерно выругался Молчанов. И замкнулся совсем, наглухо, намертво.

В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в халупке Ивана у приоткрытой двери, яростно садил папиросу за папиросой, тёр щетинистый подбородок. Под его закаменевшей ладонью щетина громко трещала, будто её лизало жаркое пламя. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень.

— Не верю я, Агата, в такую Иванову подлость, — сказал Панкрат, шумно вздыхая. — А с другого боку — зазря-то, поди, человека в тюрьме гноить не положено.

Он ещё выкурил одну папиросу и встал.

— А тебе так, баба, скажу: Иван Иваном, а ты тоже человек. На людей серчать нечего.

Отвратишься ежели от людей теперь — погибнешь. А мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, тебя с детьми — отдельно. А там и видно будет. Время — оно всё разъяснит, до полной ясности...

Фёдор Савельев и Кирьян Инютин после этого ещё немного пожили в Михайловке. А ранним летом тридцать шестого года оба уволились с работы и уехали в Шантару.

После ареста и осуждения Ивана никакой перемены в отношении михайловских жителей к Кирьяну и Фёдору вроде бы не обозначилось. С ними и раньше никто тесно не сходил, и теперь никто особой дружбы не завязывал.

Но Фёдор всё явственнее ощущал холодок отчуждения, при встречах с ним люди как-то неловко прятали глаза, а миновав, оборачивались. Фёдор всей спиной чувствовал эти неприятные взгляды, сжимался, втягивал в плечи голову.

Анна испытывала, видно, то же самое, большие светло-серые глаза её, в которых можно было когда-то утонуть, делались всё мельче, пустели, как степь к концу сентября. Стройная, высокая, имевшая уже троих детей, но всё ещё хранившая девичью лёгкость, она сразу как-то обмякла, потяжелела. Когда дома никого не было, частенько присаживалась к окну, грузно опустив на колени маленькие, горячие руки, подолгу смотрела

на облитые синью утёсы Звенигоры, каменела в какой-то угарной нескончаемой думе. Потом неожиданно вздрагивала, вздымалась её грудь, начинало биться там что-то живое и яростное. Она клала на грудь руку, успокаивалась и продолжала тупо, не моргая, глядеть в окно.

Нередко в таком положении заставлял её Фёдор, но ничего не говорил. Только подёргивал кончиком уса. Она вздыхала, поднималась, выдёргивала из головы костяную гребёнку. Светло-русые волосы холодными волнами скатывались на плечи. Анна расчёсывала их, снова большим узлом собирала на затылке и, сбросив окончательно забытьё, принималась за домашность.

Уехали они из Михайловки как-то неожиданно.

Однажды в душный полдень восьмилетний Димка прибежал с улицы, напился молока и, поковыряв в носу, спросил:

— Мама, а чего люди говорят... будто этого, дядьку Ивана, отец наш в тюрьму засадил?

Фёдор, как раз входивший в комнату, застрял в дверях. Потом грузно опустился на табурет у стола. Посидел в тяжёлом раздумье и вскочил, отшвырнул ногой табуретку.

— Хватит! Каждый глазами напололам стригёт, будто и в самом деле я Ивана...

И тем же часом уехал в Шантару, через три

дня вернулся с новым приёмщиком отделения, подкатил к дому бричку-пароконку.

Через час нехитрые пожитки были уложены, Фёдор посадил на воз Анну с Андрейкой, сунул вожжи Семёну:

— Трогай потихоньку.

Сам приостановился, попросил спичек у подошедшего Назарова.

— Уезжаешь, значит? Где там робить будешь?

— В МТС пойду. На курсы. По машинной части.

— Эвон как. По машинной — это добре. Скоро их много, должно, машин-то, будет, — одобрил Панкрат. И, помолчав секунду, прямо сказал: — Это хорошо, что уезжаешь отсель.

— Вот как?!

Пробегавший мимо Евсей Галаншин полюбопытствовал с откровенным цинизмом:

— А как ты, Фёдор, без Кирьяна-то? Али всё же к себе его выпишешь? Внешне Фёдор остался спокоен, только потная шея налилась бронзой да потяжелели мятые щёки.

— А это уж как мне удобнее, — усмехнувшись, полоснул он Евсея тугим взглядом.

Кирьян Инютин с семьёй уехал из Михайловки через неделю. А ещё через две вездесущая Василиса Посконова, ездившая на воскресный шантарский базар, доставила известие,

что Инютин тоже поступил на те самые курсы при МТС, о которых говорил Фёдор.

— Обои с тетрабочками под мышками теперь ходят, на одной скамеечке курсы постигают... — звонила она, захлёбываясь от торопливости.

— А про Анфиску его что слыхала, нет? — любопытствовали бабёнки.

— Да что... — виновато крутилась Василиса. — Где ж прознаешь за день? Кабы я хучь недельку там пожила...

Покачивали головами михайловские бабы и мужики, дивовались на такую дружбу Фёдора и Кирьяна.

* * *

21 июня, поздним вечером, Антон Савельев приехал в Перемышль.

Чумазый, задыхающийся на подъёмах паровозишко еле-еле волок с полдюжины скрипучих деревянных вагонов, подолгу отдыхая на каждом полустанке. Во время остановок вагоны облепляли розовощёкие торговки в нарядных фартуках, наперебой предлагали отведать дымящихся вареников, запечённых в сметане грибов, жареных цыплят...

Из Харькова во Львов Антон переехал сразу же после освобождения Западной Украины.

Тракторный завод тогда посылал в освобождённые районы группу специалистов. В глубине души Антону не хотелось сниматься с обжитого места, но он никому об этом не говорил, только на беседе у секретаря парткома завода спросил:

— Что же я делать там буду? Во Львове пока нет тракторного...

— Работа найдётся, — ответил секретарь. — Направляем тебя в распоряжение парторганов.

Во Львовском обкоме партии Антону предложили должность начальника цеха будущего крупного машиностроительного завода, а пока он строится, поработать снабженцем на этой же стройке. И вот теперь он приехал в Перемышль, чтобы поторопить местный кирпичный завод с отгрузкой кирпича.

Вечер был тёплый и тихий. Но из-за Сана всё равно тянуло бензиновой гарью, и Антон вспомнил последние тревожные разговоры в обкоме партии, где он почти ежедневно бывал по делам стройки: на той стороне реки скапливаются подозрительно большие соединения германских моторизованных и пехотных войск. По этому поводу высказывались разные предположения, в том числе и такое, что немцы просто отводят сюда на отдых свои войска из Франции. Но Антон чувствовал — на душе у львовских партийных работников беспокойно. Да и было отчего. Немецкие самолёты всё чаще и чаще

нарушали границу, иногда подолгу кружили над Львовом, в городе и близлежащих посёлках часто вылавливали бандеровцев. Недавно одного из таких молодчиков сам Антон приволок в НКВД. Проходя в обеденный перерыв по территории стройки, он услышал за стенкой дощатой бытовки говорок:

— Гроб с крышечкой скоро будет Советской власти, чтоб мне не дожить до вечера... Так что зря, хлопцы, спину ломаете на этой стройке... А уж крышечку завинтим поплотнее...

Антон свернул за угол бытовки, увидел человек пять каменщиков, расположившихся на обед.

— Кто это тут крышку Советской власти завинтить собирается? — спросил он, подходя к ребятам.

Те нехотя встали. И тут только Антон сообразил, что поступил неосторожно, угол был глухой, поблизости ни души.

— А я, допустим, — усмехнулся верзила в обляпанном известью пиджаке и зыркнул по сторонам.

— Кто такой? Как фамилия? — Отступить было поздно.

— Карточку показать или на слово поверишь? — И верзила распахнул пиджак. На груди чернел вытатуированный трезубец — эмблема бандеровцев.

Терять времени было нельзя. Почти не размахиваясь, Антон саданул верзилу в заросший подбородок.

— Что стоите? Бей гада! — заорал тот, выхватывая нож.

Антон поднял с земли обломок кирпича — больше ничего не оказалось под рукой. Но кирпич был уже не нужен, четверо каменщиков навалились на бандеровца, скрутили ему руки...

Раздумывая обо всём этом, Антон шагал по тихим, утопающим в садах улочкам Перемышля к гостинице. На кирпичный завод он решил идти завтра с утра — завод работал и по воскресеньям, — а сейчас хорошо бы побриться и поесть.

Несмотря на поздний час, ему удалось отыскать ещё не закрывшуюся парикмахерскую.

Брили в этих местах не так, как в Харькове. Цирюльник сперва тёр лицо мыльной палочкой, потом ладонью долго втирал в кожу мыльную пену. То же самое он проделывал со вторым клиентом, с третьим. А потом уже брал бритву и возвращался к первому.

Но сейчас клиентов не было, и Антон побрился быстро. Парикмахер, старый, седой еврей, так стремительно махал бритвой, что было удивительно, как он ухитряется при этом не порезать кожу.

— Что за Саном делается, не слышно? — спросил Антон.

— Откуда же я знаю, что за Саном? — ответил парикмахер с отчётливой еврейской интонацией. — Или вы думаете, я туда хожу обедать сквозь пограничные кордоны?

Но, кончив бритьё, добавил:

— На днях, по слухам, напротив Перемышля какая-то танковая часть остановилась. Как вы думаете, что здесь надо германским танкам?

— Не знаю, — вздохнул Антон.

— Да, да... — вздохнул и парикмахер. — Но ведь не может этого быть. У Советского Союза же с Германией пакт о ненападении...

Потом Антон сидел в маленьком уютном буфете при гостинице. Здесь, как во львовских буфетах, давали такие же «гастечки» — микроскопические пирожные — и небольшие бутерброды — «канапки». Только кофе был не таким крепким, как во Львове, жиденьким и почти безвкусным.

Улёгшись на койку в своём номере, Антон долго ворочался, никак не мог уснуть. «Как там дома, Лиза? И приехал ли Юрий?» — почему-то беспокойно думал он. Единственный его сын Юрий, токарь на Харьковском тракторном, сегодня должен был приехать в гости, на весь отпуск.

Постепенно сон брал всё-таки своё.

Последнее, что он услышал, — за тонкой дощатой перегородкой кто-то без конца мурлыкал весёлую львовскую песенку:

Во Львове идёт капитальный ремонт,
Шьют девушки новые платья...

Проснулся он от страшного грохота.

Вскочив на кровати, Антон в первые секунды не мог сообразить, где он и что происходит. Потом на стенах заплясали отсветы огня — что-то вспыхнуло недалеко от гостиницы. Почти одновременно что-то взорвалось перед самым окном, железные брызги ударили в стену над его головой, и проём окна словно заткнул вспучившийся столб огня и дыма.

Надёрнув брюки и схватив пиджак, Антон ринулся к двери. «Неужели война?» — подумал он на бегу, холодея от этой мысли. Из номеров выскакивали заспанные, полураздетые постояльцы, с криком бежали по коридору. Дико выла в каком-то номере женщина, и пронзительно плакал ребёнок.

Едва Антон выскочил на улицу, небольшая двухэтажная гостиница вздрогнула, кирпичная стенка, возле которой он стоял, вдруг повалилась на него, рассыпаясь. Антон успел отскочить и уже с противоположной улицы увидел, как медленно

начала крениться черепичная крыша гостиницы и вдруг рухнула, провалилась между стен.

И только тут отчётливо и больно застучало в голове: «Это война!.. Война!.. Война!..»

На улице было почти совсем светло, но вокруг стоял невообразимый грохот, рвались снаряды. «Ведь они же оттуда, из-за Сана, стреляют прямой наводкой!» — сообразил Антон, хотел бежать к вокзалу. «А где же та женщина, что кричала? Успела она выскочить? Помочь... Помочь...»

Но это было неосознанным порывом, потому что в следующую секунду Антон понял — помогать некому: на месте гостиницы лежала куча кирпича и черепицы. Натянув пиджак, он побежал в сторону главной улицы, на которой разыскивал вчера парикмахерскую. Из домов выскакивали люди, из окон выбрасывали чемоданы, подушки, одежду, вязали это в узлы и с криком, с воем тоже бежали куда-то, падали, запинаясь о брошенные чемоданы, о всякую рухлядь. Ругань, стон, плач, взрывы, грохот — всё перемешивалось, превращаясь в сплошной неиссякаемый рёв, ещё больше усиливая панику.

Наконец толпа обезумевших людей вынесла Антона на центральную площадь, обсаженную низкорослыми пока каштанами, растеклась по ней, начала рассасываться по расходящимся от площади улицам. Антон остановился, соображая — куда же

теперь ему идти? И здесь опять больно прошила голову вчерашняя мысль: «А как там, во Львове? Приехал ли Юрка?»

Из какого-то проулка выкатился зелёный броневичок и, протиснувшись меж людей, встал посреди площади. На броневичок вскочил человек в военной форме, поднял ко рту рупор.

— Товарищи! Не создавайте паники! — разнеслось от площади. — Возможно, это просто провокация... На всякий случай — всем отходить по Дрогобычскому шоссе, потому что вокзал и железнодорожные пути разрушены. В лесу, южнее Самбора, организован эвакуационный пункт. Там вас ждут автомашины...

Толпа с узлами, мешками, чемоданами хлынула обратно в ту же улицу, по которой только что выкатилась к площади. В это время обстрел города внезапно прекратился, грохот разрывов умолк.

И тогда все услышали в небе надсадный прерывистый гул.

Над городом пузырились кроваво-чёрные клубы дыма. За этим дымом вставало солнце, проглядывая временами сквозь клубы огромной и тяжёлой, распухшей подушкой.

Туда, за эти дымы, навстречу солнцу, летели самолёты. Они летели низко, по три в ряд. На их крыльях отчётливо и зловеще чернели кресты...



Июньский день пылал. Кособочилась деревянная крыша на шантарской пожарной каланче, потрескивала, раскалённая зноем, будто она-то и собиралась вот-вот вспыхнуть.

Несмотря на воскресный день, Вера Инютина, двадцатилетняя, полненькая, с редковатыми веснушками вокруг носа и припухших губ, с утра печатала на расшатанном, грохочущем «Ундервуде» доклад Кружилина на предстоящем в среду районном партийном активе. Сам Кружилин тоже с утра был в райкоме, и через открытые двери своей комнатки Вера слышала, как он беспрерывно крутит ручку телефона и хрипло кричит:

— Алло, алло! Станция?.. Катя!.. Это ты, Катя?.. Что там Новосибирск?.. Не отвечает?.. А квартира секретаря обкома... Тоже молчит?.. Куда ж они попровалились все? Ты вызывай обком через каждые пятнадцать минут.

Вера здесь работала уже два года, работа ей не нравилась. Сжав зубы, она с ненавистью выстукивала фразы, по-военному повествующие о том, сколько зимой и по весне было вывезено на колхозные поля навоза, сколько прополото посевов. Время от времени подходил Кружилин, молча брал отпечатанные листы и молча уходил.

— А-а, Яков Николаич! — промолвил он вдруг, взяв очередные листы. — Ты ко мне? Заходи.

— Зайду, — сказал Алейников, стоявший в дверях Веринной комнатки. — Сейчас зайду.

Кружилин, удивлённо глянув на Алейникова, направился к себе. А Яков прошёлся по комнатке, сел на подоконник. Он был в гражданском. Новый, совсем ещё не смятый парусиновый костюм и белая рубашка ярко оттеняли его посиневший с годами рубец на щеке. Поперёк этого рубца билась вздувшаяся красная жилка.

Вера боялась неразговорчивого, вечно хмурого Алейникова, из глаз которого, почти скрытых нависшими бровями, всегда лился знобкий, пронизывающий до сердца холодок. Она впитала эту боязнь с детства. Мать, укладывая в постель неугомонного Кольку, частенько говорила в сердцах:

— Да что за ребёнок, язви его! Вот погоди, кликну Яшку Алейникова, что с рубцом на щеке, он живо приедет...

Но Алейников к ним не приезжал. Зато Вера помнит, как Алейников приезжал ночью, перед рассветом, к Маньке Огородниковой.

Это было давно, через год после возвращения из Михайловки. Вера и Манька были почти ровесницы, они сдружились, целыми днями бегали по степи, играли в прятки, благо Громотушкины

кусты подступали чуть не к избёнке Огородниковых, стоявшей на самой окраине Шантары.

Однажды они с Манькой долго читали при свете керосиновой лампы какую-то книгу, а когда закончили, Вера побоялась идти домой по тёмным улицам и осталась ночевать.

Сквозь липкий, тяжёлый сон она слышала, как заурчала под окнами машина, раздался какой-то стук, голоса. Когда протёрла ладонью глаза, увидела под лампой Алейникова — в тяжёлой, длиннополой шинели, в фуражке, пристёгнутой к подбородку глянцево-чёрным ремешком. У дверей стояли трое незнакомых людей в таких же шинелях, как Алейников. Манькин отец, густо, до самых глаз, заросший рыжей бородой старик, дрожащими руками натягивал сапоги. Алейников спокойно курил.

Манькин отец — Ерофей Кузьмич — был ей неродной — трёхлетней девчонкой взял её из детдома. Он работал в промкомбинате сапожником. Жили они вдвоём, потому что жены у Ерофея Кузьмича не было.

Вера помнит, как Огородников обулся, выпрямился.

— А за что? — спросил он.

— А там объясним, — вяло ответил Алейников, раздавливая тупорылым сапогом

окурок на половице. — Думаешь, бородой закрылся, фамилию переменял — так и не разыщем? Разыскали.

— Прощай, Маньша, — повернулся к приёмной дочери Ерофей Кузьмич. — Ты уж подросла, ничего. Подвернётся хороший человек — замуж иди. Ничего, изба есть...

Говорил он спокойно и просто, будто уходил на работу, а к вечеру рассчитывал вернуться, только глаза лихорадочно горели.

...Алейников сидел на подоконнике, глядел на улицу, где под райкомовским палисадником, в полосатой тени от деревьев, и подальше, на замусоренной сенной трухой коновязи, куры разгребали сухую пыль.

Напротив, через дорогу, стоял просторный, под железной крышей, деревянный дом, в котором жил секретарь райкома. Дом был огорожен со всех сторон плотным деревянным забором.

Так ничего и не сказав, поднялся, вышел. И Вера совсем забыла про машинку, долго сидела не шевелясь, прижав ладонь к гулко стучащему сердцу. «Зачем, зачем он приходил сюда?» — туго и больно колотилось в голове.

* * *

— Слушаю тебя, — сказал Кружилин,

поднимая тяжёлую, давно поседевшую голову навстречу Алейникову.

Но Яков, как в комнате машинистки, молча сел на подоконник, стал угрюмо смотреть на улицу.

— Алло, Катя?.. Ну что, не отвечает Новосибирск? Нет? — опять принялся Кружилин вертеть ручку телефона. — Ну, ты скажи, будто вымерли все...

— Воскресенье же. Кто на рыбалке, кто бражничает, — промолвил Алейников. — Это мы всё работаем, работаем...

Кладя трубку, Кружилин покосился на Алейникова, опустил глаза на бумаги, разложенные на столе.

— Ты по делу? — спросил он, не поднимая головы.

— А без дела и зайти нельзя? Друзья всё же, — усмехнулся тот.

Тупое и тяжёлое раздражение разлилось по всему телу Кружилина. Он даже чувствовал, как копится внутри у него это раздражение, как тяжелеют лежащие на столе руки.

— Друзья, говоришь?

Поликарп Матвеевич, в отличие от Веры, не боялся Алейникова. Он, Кружилин, вообще никого и ничего на свете не боялся, даже смерти, которая не раз примеривалась, с какого боку его свалить.

Поликарп Матвеевич понимал необходимость

и важность для революции той работы, которую делает Алейников, работы подчас трудной, грязной, может быть, и всегда опасной. Но он не понимал самого Якова, не понимал, что с ним произошло...

...После колчаковщины Кружилин взял Алейникова к себе в волисполком, секретарём. Но работать вместе пришлось недолго, потому что весной 1920 года в окрестностях Шантары вместо недавно разгромленной банды Кафтанова появилась новая. Налетая на деревни, бандиты поголовно уничтожали всех бывших партизан кружилинского отряда, вырезали их семьи, не щадя ни женщин, ни детей, сжигали их дома.

— Зиновий это, сын Мишки Кафтанова, по почерку вижу, — не раз говорил Алейников. — Поликарп Матвеич, дозвожь мне, а? Я его, гада одноглазого, через месяц к тебе приволоку. А то этим... губошлёпам из Чека его сроду не изловить.

Яков говорил, глаза его нетерпеливо блестели, косматые брови подрагивали от возбуждения.

В конце концов Кружилин договорился с руководителем шантарской Чека — человеком вялым и беспомощным, явно сидевшим не на своём месте, чтобы Алейникову поручили организовать из чекистов и бывших партизан специальный отряд для ликвидации банды. И Яков, правда, не через месяц, а только глубокой осенью того же 1920 года прямо в кабинет Кружилина заволок бельмастого,

лет тридцати пяти человека.

— Вот, как обещал... Стой прямо, стерва, перед Советской властью!

Это был действительно Зиновий Кафтанов, старший сын Михаила Лукича Кафтanova.

После этого Поликарп Матвеевич сам порекомендовал в Чека Якова Алейникова на место прежнего беспомощного руководителя. И не ошибся, потому что Яков, кажется, попал в свою стихию, быстренько выгреб из звенигорских ущелий и громотухинских лесов всякую нечисть, навёл в волости порядок. И очень сожалел, что Алейникова вскоре перевели в Барнаул. А потом обрадовался, когда Яков опять оказался в Шантаре.

— Ну, давай, Яша, помогай, — сказал он ему. — Время беспокойное настаёт, кулачье во время нэпа притихло, сейчас опять зашевелилось.

Время наставало действительно беспокойное, начиналась коллективизация. Кружилин тогда работал уже секретарём райкома партии.

Яков Алейников будто нюхом чувал, где и что замышляет кулачье, вовремя обезвреживал заговоры, подсекал главарей. День и ночь он мотался по району, почернел, похудел, но был неизменно весел, добродушен и открыт.

— Трудненько, Яша? — иногда спрашивал Кружилин. — Одни брови да рубец на щеке и остались.

— Выдюжим, — отвечал Алейников, обнажая в улыбке крепкие белые зубы. — Я завтра в Белый Яр махну. Там мои люди давно присматриваются к двум колхозничкам. Какие-то гости их временами навещают. Всегда тайно, ночью. Подозрительно.

— Подозрительно, — соглашался Кружилин. — По весне, перед самой пахотой, там пятнадцать лошадей пало. Объелись, говорят, чего-то...

— Выясним. Я буду с тобой связь держать. Если что — сообщу, посоветуюсь.

Он действительно всегда советовался, держал райком в курсе всех своих дел.

А потом Яков Алейников стал меняться. Он стал молчаливее, скрытнее, в райкоме появлялся хмурый, небритый. Кружилин как-то не уловил, когда, собственно, началась в нём эта перемена. Попервоначально Поликарп Матвеевич думал, что Яков просто чертовски устаёт да и годы идут, вот и не выдерживают нервы чудовищного напряжения. В райкоме он появлялся всё реже и реже.

— Может, тебе, Яков, капитально отдохнуть, а? — сказал как-то Кружилин. — На курорт куда съездил бы.

— Наотдыхаемся... на том свете, ежели сейчас поводья отпустить, — мрачно ответил тот.

У Алейникова появился новый метод работы. Выслеживая какого-нибудь затаившегося врага

Советской власти, Яков сперва создавал вокруг него пустоту, по первому подозрению хватая каждого, кто, по его мнению, мог как-то с этим человеком общаться. Тюремные камеры при НКВД были всегда переполнены. Зато потом, когда тот, за кем он охотился, неизбежно попадал в его сети, Алейников тщательно проводил расследование, пачками выпуская людей на волю.

— Ты эти штучки брось-ка, Алейников, — потребовал Кружилин, узнав о таком методе. — Невиновных сажать — за это знаешь ли... Ты не царской охранкой командуешь...

Позже Кружилин расплатился за эти слова. Правда, довольно своеобразно. В одну из поездок в Новосибирск по делам района его вдруг пригласили в краевое Управление НКВД и продержали там почти трое суток. Ночи он проводил на потёртом кожаном диване в одном из кабинетов, а днём с ним «беседовал» молоденький оперуполномоченный по фамилии Тищенко, без конца выясняя, где он, Кружилин, родился, чем занимался в юности, кто его родители, в каких местах воевал в гражданскую, кто были его боевые товарищи и т. д.

Это случилось где-то в середине 1936 года. Поначалу Кружилин недоумевал: чего же от него хотят? Потом не на шутку возмутился:

— Чёрт знает что такое?! Что вы ходите вокруг да около? Что вам нужно, говорите прямо.

— Скажем... — кивал головой оперуполномоченный. — Значит, и Фёдор Савельев был у вас в отряде?

— Да, был. Он командовал эскадронам. Лучший командир эскадрона был в полку.

— Так. А его брат Иван в прошлом году осуждён за вредительство. Знаете?

— Да, знаю. Хотя — не верю...

— То есть как не верите? Советским чекистам не верите? — пытаюсь изобразить строгость на своём безусом лице, спрашивал Тищенко.

— Вы меня не пугайте. Не верю в то, что Иван Савельев вредитель.

— Ну, а факты? Ведь было же следствие...

— Да, факты... — устало проговорил Кружилин. — Потерялись две лошади, помню. Иван Савельев в банде Кафтанова был...

— Да, да, в банде Кафтанова... — повторил Тищенко, прошёлся по кабинету, явно с удовольствием прислушиваясь к скрипу новых сапог. — Тут ведь всё очень странно. Этот Иван Савельев в прошлом бандит. Его брат Фёдор — лихой партизан, но он женат на дочери Кафтанова.

— Дочь Кафтанова, Анна, тоже партизанила в моём отряде. Иван Савельев, бандит, в конце концов застрелил атамана банды Кафтанова. За участие в банде был осуждён, отсидел. Но в нём проснулся человек, он в последнее время...

— Давайте по порядку, — прервал Кружилина оперуполномоченный. — Анна, говорите вы, партизанила. А может быть, она... попросту шпионкой была в вашем отряде?

— Это исключено. Она порвала с отцом, с семьёй. Она очень любила Фёдора Савельева, моего командира эскадрона...

— И из-за любви пошла с красными? — улыбнулся Тищенко.

— Что же... Любовь — дело серьёзное.

— Когда дело касается классовых идей, то любовь... Впрочем, хватит на сегодня, — сказал вдруг оперуполномоченный, собирая бумаги. — Вы пока отдыхайте тут. Завтра продолжим. Поесть вам принесут. Туалет за этой дверью.

— То есть как — тут?.. Как — завтра?!

Но оперуполномоченный, не отвечая, вышел, щёлкнул английский замок в двери. Телефона не было, кабинет на четвёртом этаже. Да и не прыгать же в окно, если бы кабинет был и на первом.

Придавив гнев и возмущение, Поликарп Матвеевич сел на диван и попытался хладнокровно сообразить: в какое же положение он попал и что, собственно, от него хотят? На арест не похоже, но и на свободу тоже. Да и за что его арестовывать? Дикость какая-то. Иван Савельев... Ну Иван... Нет, нет, не может Иван, не должен был... Тут какое-то недоразумение. А что, если... Ведь в самом деле,

вели же следствие. Но Фёдор Савельев, Анна, жена его?.. Нет, нет, это исключено, чушь какая-то. А что, если не чушь? В последнее время раскрыта масса вредительских групп по всей стране. Что, если я... если меня вокруг пальца обводили все — и Фёдор, и Анна эта?.. Да нет же, нет, какая она шпионка?

Всё перепуталось, всё перемешалось в голове Кружилина. Слишком неожиданно всё это обрушилось на него, слишком в неожиданном положении он оказался.

Ночь он провёл без сна.

Утром явился с папкой под мышкой Тищенко.

— Я прошу... Я требую: сообщите обо всём секретарю крайкома партии! — почти закричал Кружилин.

— О чём? — спокойно переспросил безусый чекист.

— О том, что вы меня здесь держите!

— Доложим, — отозвался тот, сдувая с рукава гимнастёрки соринку. — Если надо будет — доложим.

Он сказал это таким равнодушным, бесцветным голосом, что Поликарп Матвеевич взорвался яростью:

— То есть как — если будет надо?! Что вы за комедию устраиваете?!

— Вы не волнуйтесь, Поликарп Матвеевич.

Если не виноваты, вам нечего волноваться.

— Да в чём, чёрт побери, вы меня обвиняете?!

— Собственно, ни в чём серьёзном. Нам надо было уточнить кое-что об Иване Савельеве, о Фёдоре, о его жене Анне.

— Кроме того, что сказал, я ничего о них добавить не могу. Вам достаточно? Я могу быть свободен?

— Конечно, мы вас отпустим, — усмехнулся Тищенко.

— Вы меня ещё не посадили, чтоб отпустить! И не посадите!

— Успокойтесь, Поликарп Матвеевич, — опять сказал Тищенко. — Хорошо, о братьях Савельевых поговорили. А сейчас...

— А сейчас я требую прекратить балаган! Немедленно! Ведите меня к вашему начальнику, в конце концов!

— Он, к сожалению, в командировке.

— Н-ну... ладно, — почти шёпотом, в изнеможении, произнёс Кружилин. — За всю эту комедию вы ответите.

— Хорошо, ответим. — Тищенко снова сдул какую-то пылинку с рукава новенькой, тщательно отглаженной гимнастёрки. — А сейчас объясните мне, пожалуйста, — и в его голосе зазвучал, правда ещё не очень натренированно, металлический оттенок, — объясните, почему, на каком основании

вы органы внутренних дел называете царской охранкой?

Кружилин секунду-другую тупо смотрел на этого молодого человека в форме, который напоминал чистенького, новенького оловянного солдатика, только что вынутого из коробки.

— Слушай, сынок... — сказал он как-то печально.

— Не рано ли в папаши записываетесь?

— Мне сорок шесть, сорок седьмой пошёл. Так вот, сынок... Ты ещё и под стол-то пешком не мог ходить, а я уже в Австрии воевал. Меня газами чуть не задушили, потом, вплоть до двадцатого, я партизанил... Я в партии большевиков с тысяча девятьсот седьмого года.

— Я, я, я... удивительно вы скромный человек.

И тут Поликарп Матвеевич не выдержал. Побледнев, он трахнул кулаком по столу.

— Мальчишка! Да я вот этими руками, насколько хватало сил, дрался за Советскую власть. Поэтому позволь уж мне не скромничать. А ты хочешь мне своими гнилыми нитками пришить антисоветчину? Во враги этой власти записать? Не выйдет!

— Почему же? — Тищенко пожал плечами, — Если надо, может и получиться.

Сказал и поглядел на Кружилина: какой

эффект произведёт это словечко «надо»? Но, к его удивлению, Кружилин не спеша повернулся, пошёл к дивану, покачивая плечами, сел, спокойно закурил.

— Это что же, таким вот способом вы и другим дела шьёте?

— А вам не кажется, что это клевета на сталинских чекистов? За такую клевету можно о-очень долго рассчитывать.

— А знаете что? — промолвил Кружилин. — Подите-ка вы к чёрту.

— То есть как? — опешил Тищенко, привстал. И только потом, задыхаясь, прокричал: — Как вы... смеете?! Встать!

— А так и смею. Я больше не желаю с тобой разговаривать. — И отвернулся к стене.

Оперуполномоченный нервно сгрёб со стола бумаги, вжикая новыми сапогами, вылетел из кабинета.

Остаток дня Поликарпа Матвеевича никто не беспокоил. Хорошо хоть, что в углу, на тумбочке, стоял графин с водой.

Никто не беспокоил его и на третий день, до обеда. А часа в два дверь распахнулась, вошёл, почти вбежал, Яков Алейников.

— Поликарп Матвеевич! Ну, дельцы они тоже! Случайно узнаю в управлении, что они тут тебя... «Вы что, говорю, с ума сошли?! Как вы

могли даже подумать что о Кружилине? А мы, говорю, секретаря райкома потеряли...» Поехали, я тоже домой.

— Неумно, Алейников, — тихо и отдельно проговорил Кружилин.

Яков умолк на полуслове, вскинул и опустил брови. По его туго обтянутым скулам прокатились и исчезли желваки, натянув кожу, кажется, ещё сильнее, до предела.

— Поликарп Матвеевич, — произнёс он глуховато, глядя немигающими глазами в глаза Кружилина, — мы преданных партии и Советской власти людей не трогаем. Мы их, наоборот, оберегаем. Инцидент с вами объясняется просто, — перешёл он вдруг на официальное «вы». — Как-то здесь, в управлении, я шутя рассказал, как вы меня критиковали за мой метод работы... что, мол, я не царской охранкой командую... Они, понимаешь, запомнили эти слова.

— Не ври, Алейников! Я тебе не мальчишка!

— Поликарп Матвеевич!

— Что — Поликарп Матвеевич?! Ты творишь в районе беззаконие!

— Например? — сощурил глаза Алейников. На щеках у него проступили и начали расползаться белые пятна.

— А тот же Иван Савельев. Он не виновен. Например, колхозник из Михайловки Аркадий

Молчанов. За что вы его-то посадили вслед за Савельевым?

Кружилин задыхался от ярости, сжимал и разжимал кулаки. Крупное его тело вздрагивало, он хотел унять эту дрожь и не мог.

— Дальше? — усмехнулся одними губами Алейников.

— А дальше — так не будет! Мы хотели на бюро райкома заслушать работу райНКВД, кое в чём разобраться... Тебя, видимо, рекомендовали бы снять с работы за нарушение социалистической законности. А ты меня решил для острастки сюда! Не выйдет, братец! Бюро состоится! Мы не позволим выйти... тебе из-под контроля партии...

Алейников молча постоял немного, прошёл к тумбочке, налил стакан воды и выпил. Потом сказал спокойно:

— Есть, видимо, вещи, которых вы не понимаете, Поликарп Матвеевич. Никакого бюро не будет.

— Это почему же? По каким соображениям?

— По политическим. Вот вам пропуск на выход...

Не помня себя, Кружилин выбежал на улицу, крупно зашагал в крайком партии.

Секретарь крайкома Субботин, стареющий угловатый человек, щёки которого изрезали глубокие морщины, принял его не сразу, но зато

выслушал весь рассказ Кружилина спокойно, внимательно, не перебивая. И только когда Поликарп Матвеевич умолк, проговорил:

— Да, мне звонили. Всё это очень неприятно.

— Значит... Значит, я, Иван Михайлович, действительно чего-то не понимаю, как говорил Алейников?

— Так выходит.

— Но — чего? Чего?

— Чего? — невесело переспросил секретарь крайкома. — Многого. Политической обстановки. Пульса времени.

— Что? — Кружилин поднял глаза на секретаря крайкома, оглядел его, будто видел впервые.

Поликарп Матвеевич давно, кажется с ноября 1919 года, знал этого человека, одного из руководителей новониколаевских подпольщиков, потом комиссара одного из полков легендарной Пятой Красной армии. Ну да, с ноября, потому что именно в последних числах ноября 1919 года партизанский отряд Кружилина совместно с этим полком выбили белогвардейцев из Шантары. Потом полк ушёл дальше, на Новониколаевск, а этот человек крепко тряхнул ему на прощанье руку и сказал: «Давай, Поликарп, устраивай тут Советскую власть. Ты пока отвоевался».

Затем он встретился с ним, кажется, года

через два или три, на Барнаульской партийной конференции — в те годы Шантарская волость относилась к Барнаульскому уезду. «Ну вот, и я отвоевался, — сказал этот человек, узнав Кружилина, и опять крепко тряхнул ему руку. — Сейчас, видно, придётся потрудиться в уюме партии. Поработаем вместе».

И они работали, часто встречаясь, до самого тридцатого года, когда Шантара отошла ко вновь организованному Западно-Сибирскому краю. На несколько лет Кружилин потерял из виду этого человека, но полтора года назад снова встретились в Западно-Сибирском крайкоме. «А-а, Поликарп Матвеевич! — воскликнул тот радостно и энергично потряс руку. — Видишь, гора с горой не сходится... Опять свела нас судьба! Ну, заходи, потолкуем, что и как у вас в Шантаре...»

Работать с Иваном Михайловичем было легко и приятно. Неизменно мягкий и приветливый, он никогда не горячился, не суетился. Всё это как-то не гармонировало с его угловатой, немного нескладной внешностью, но всё равно от него веяло покоряющей силой и правотой. Сперва Кружилин не мог разобраться, в чём тут дело, в чём такая покоряющая сила этого человека. А потом понял — в глазах, во взгляде. Разговаривая, Иван Михайлович всегда смотрел на собеседника серыми глазами чуть грустновато, почти не мигая, и

казалось, что его взгляд, проникая в душу, видит то, что другим никогда не разглядеть. И странно, что это не оскорбляло и не пугало собеседника, — во всяком случае, он, Кружилин, никогда не испытывал под взглядом секретаря крайкома таких чувств, — это просто лишало возможности что-то утаить, заставляло выкладывать всё, и плохое и хорошее, что есть на душе. И заставляло выкладывать именно потому, что взгляд Ивана Михайловича странным, необъяснимым образом заставлял поверить — перед тобой человек, который всё поймёт, который не осудит за непонимание каких-то важных вещей, поможет понять то, чего ещё не понимаешь.

Именно таким взглядом и смотрел сейчас Субботин на Кружилина.

В просторном, чистом кабинете с потёртым ковром на полу долго стояла тишина. Только круглый медный маятник настенных часов лениво и отчётливо ронял на деревянный пол секунды да, колеблемая ветерком, шелестела на окне голубоватая занавеска.

— Но... если я не понимаю таких вещей... — проговорил Кружилин, почему-то мучительно прислушиваясь к стуку маятника, — то как же я дальше... могу работать секретарём райкома?

— Вот и я об этом думаю, — глухо проговорил Иван Михайлович. Кружилин

вздрагнул, медленно поднял голову. Секретарь вздохнул, поднялся. — Ладно, Поликарп, езжай домой.

Из крайкома Кружилин вышел со звоном в голове, с каким-то необычным чувством — его, Кружилина, кто-то долго и старательно жевал, но глотать почему-то не стал, а, смятого и изжѣванного, выплюнул в дорожную пыль.

На вокзале Кружилин подошёл к ободранной стойке, выпил залпом стакан тёплой водки и, не чувствуя ничего, кроме тошноты и отвращения, сел в поезд.

«Как же так? — думал он всю дорогу под стук колёс. — Ну ладно, пусть не понимаю... Почему же он, Иван Михайлович, не объяснил мне, чего я не понимаю... Ведь он может объяснить...»

Вернувшись в район, Кружилин остервенело взялся за дела, день и ночь мотался по сѣлам и деревням. В разгаре был сенокос. Поликарп Матвеевич иногда сбрасывал гимнастѣрку, брал вилы, становился возле стога и, обливаясь потом, целыми днями метал тяжѣлые, пахучие пласты.

Однажды он вот так же проработал весь день в михайловском колхозе. Стога ставили на лугу возле Громотухи. Вечером Кружилин выкупался в прохладной реке, сел на каменную, уже нахолодавшую плиту, стал слушать, как ворчит Громотуха на перекате. Сзади простучали дрожки,

слышно было, как они остановились, как кто-то подошёл.

— Ну что, Матвеич, наработался? — По голосу Кружилин узнал михайловского председателя Панкрата Назарова.

— В охотку оно хорошо ведь, Панкрат. Кровь разгоняет.

— Хорошо, — согласился его бывший заместитель по партизанскому отряду, присел рядом, загрёб в кулак свой широкий подбородок. — Только охота порой пуще неволи бывает.

Кружилин покосился на Панкрата, торчащего в полусумраке каменной глыбой, но ничего не сказал.

— А ведь по этому броду мы тогда перебирались, как от Зубова-то убегали. Помнишь, поди?

— Как же, — откликнулся Кружилин. — По этому.

Потом долго молчали, думая каждый о своём.

— Ну, а что там про Ваньку Савельева слыхать?

— Не знаю. Что услышишь?

— Ну да, ну да, — дважды повторил Панкрат. — А ить невинный всё же он. За напраслину мыкается. — И, наверное, потому, что Кружилин никак не отозвался на эти слова, спросил: — Как же это? Что ж ты-то? Ведь

секретарь...

Что было ответить Кружилину? Долго он молчал.

— Объяснить тебе — так и не поверишь... что и секретарь райкома порой бессилён что-либо сделать.

Шумела река, на западе мутнели последние клочки облаков, будто их, как комья снега, съедала, разливаясь по всему небу, чёрная вода. Ночь обещала быть глухой, непроницаемой и — почему-то казалось — бесконечно долгой.

— Да-а, — вздохнул Назаров, полез за кisetом. — Живёшь подольше — узнаёшь побольше. Это так... Брательник это его засадил, Федька. А вот — почто? Зачем? Ты-то как думаешь?

— Что же я, Панкрат? Не знаю, — признался Кружилин. И, уже думая не столько о Фёдоре Савельеве, сколько об Алейникове, прибавил: — Громотуха вот летом шумит, а зимой молчит. Это понятно. А что с людьми происходит, трудно порой разобраться. Видно, хорошо ты сказал: чтобы узнать побольше, надо пожить подольше.

Они вместе встали, дошли до Панкратова ходка.

— Ну, прощай, Панкрат... Пойду запрягать своего Карьку.

— Про Агату я хотел ещё сказать...